

АЗБУКА ВЕРЫ



**Праведные и грешные.
Непридуманные истории**

Художественная литература 2023

Праведные и грешные. Непридуманнные истории

Вы держите в руках книгу необычных рассказов, в основу которых легли реальные события.

Эти истории, записанные священниками и мирянами, публиковались в конце XIX — начале XX века в журналах «Кормчий», «Воскресный день», «Русский паломник» и других. Они доступно и увлекательно повествуют о религиозной жизни в дореволюционной России, о грешниках, которые возвышались до праведников, и праведниках, впадавших в грехи. Хотя события эти происходили более ста лет тому назад, они не теряют ни остроты, ни актуальности и в наши дни.

Блаженный Яша

Мы находились в селе Промзине, в толпе народа, съезжающегося сюда со всех окрестностей в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. В тот год на холодном теле Руси плясала холера, выкашивая семьи и целые деревни.

Шло богослужение, люди крестились. После небольшого перерыва, началась Литургия.

— Яша идет! Яша идет! — кричали в толпе.

Все обернулись на Суру. Из-за реки показалась рослая и мощная фигура блаженного, босого, с открытой головой и с длинным посохом в руке. Так он ходил и зимой и летом.

Яша вошел в толпу паломников, ему кланялись:

— Як угоднику, к угоднику. К Николе, — сказал Яша и устремился к церкви.

— Помолись за нас, грешных, перед угодником Божиим, чтобы Господь Бог избавил нас от холеры, — кричали ему вслед. — Возьми, родименький, на свечку угоднику Божьему.

Яша брал трудовые копейки и все продвигался сквозь толпу к храму:

— Тебе самой нужно. И тебе самой нужно, — торопливо говорил блаженный то одной женщине, то другой. — У тебя у самой скоро будут гореть свечи в ногах, — сказал он какой-то ветхой старухе, высыпав ей на голову все гроши, которые у него были в руке.

Яша поднялся на паперть. Толпа молящихся расступилась. Блаженный подошел к образу святителя Николая Чудотворца и упал перед ним на колени. Все молящиеся в храме последовали его примеру.

Обедня уже закончилась, а Яша все еще молился перед чудотворным образом святителя. Паломники благодаря его примеру, еще истовей молились Богу.

Яша наконец поднялся, вышел из храма и направился к берегу Суры.

— Мне надо к ней, к ней, — говорил он. — Я видел ее в церкви, в церкви. Она приходила молиться. Она молилась за всех со мной вместе. Господь так велел ей. Его святая воля. Его воля... теперь к ней.

Все пошли за Яшей. А он направился прямо к тому месту, где, уже давно остывал труп той старухи, голову которой блаженный посыпал мирскими грошами. Она, утомленная, пришла на реку напиться и тут же, на берегу Суры, умерла от холеры.

— Помолитесь о спасении души, помолитесь, — сказал Яша и с этими словами упал перед трупом старушки на колени, лицом к церкви.

Толпа последовала его примеру.

— У нее душа была добрая, — продолжал Яша, — она никому зла не творила, не творила. А когда человек не творит зла, он воздает добро, добро он воздает людям. Она водицы много попила. Не пейте много. Все лишнее вредно. Богу противно. Жажду в душе оставляйте. Господь любит жажду. Молитесь Ему за нее. Все нам от Бога.

С этими словами Яша ушел по тракту к городу Алатырь и скоро скрылся за горизонтом.

С тех пор мы больше не видели блаженного.

Слышали, что он живет в городе Алатыре у каких-то добрых людей. И каждое воскресенье ходит в село Промзино к обедне, а ведь до него километров тридцать. И все церковное бдение он стоит. Люди вообще не видели, чтобы он пил или ел. Приносили ему и подаяние, но он никогда не оставлял его себе, отдавал первому встречному.

В то время в России не было человека, кто бы не знал блаженного Яшу из Алатыря.

Однажды пронесся слух, что Яша куда-то исчез. Людская молва утверждала, что местная власть обыскала Яшину каморку. Ничего подозрительного не нашли, кроме пустых дощатых стен чулана, в котором он ночевал. Хорошая память о человеке Божьем до сих пор живет в благодарном народе.

Где Бог и любовь — там сила

В захолустное село Ваганово со всей матушки-Руси съехались почитатели местного старца Тимофея Петровича Тимофеевского. Собрались они на 50-летие трудовой жизни простеца-диакона.

«Господу было угодно, — писал перед этим отец диакон своим почитателям, — продлить мою жизнь до 50 лет со дня моего служения Церкви Божьей и работы в качестве народного учителя. Приглашаю вас прибыть в село Ваганово для совместной молитвы».

Многие откликнулись на этот призыв, потому что влечет к себе людские сердца подвижническая жизнь бескорыстных тружеников. А Тимофей Петрович и был таким тружеником у Престола Божьего.

И чем меньше становится таких почтенных деятелей доброго старого времени, тем чаще нам хочется вспоминать светлые странички их незаметной трудовой жизни. А их много в жизни отца Тимофея.

Сын дьячка, кормившего многочисленную семью на медные деньги, в восемь лет был отдан во Владимирское духовное училище, откуда не раз приходил пешком к родительскому дому, на свой любимый Тимофеевский погост, чтобы отдохнуть здесь за крестьянской работой от скучной школьной жизни.

Жажда деятельности и отцовская бедность заставили Тимоню покинуть школу. Он подал прошение ректору об увольнении.

Прочитав прошение, ректор спросил:

— Какое же свидетельство тебе дать, черное или белое?

— Как видите, я сам черноволосый да грязненький, пусть хоть свидетельство будет белое, а не черное, — просто ответил Тимоня.

И ректор дал ему свидетельство «белое с хорошими отметками по предметам и поведению».

Все это Тимоня проделал потихоньку от брата Ивана, который учился с ним вместе в одном и том же училище.

Скрылся Тимоня из Владимира. Брату его, узнавшему о внезапном исчезновении своего любимого Тимони, снились иногда страшные сны: он видел его то утонувшим в водах реки, то съеденным волками, то погибшим под развалинами сгоревшего дома.

А Тимоня не утонул и не сгорел. С благословения архиерея и своего отца он временно поступил в Суздальский монастырь, где стал готовиться в дьячки, и, женившись, он занял место дьячка в беднейшем селе Жерехове.

Унаследовав вместе с женой тещу-вдову, дьячок Тимофей поднял на ноги трех ее братьев и сестру.

Быть может, кому-то другому тяжелая дьячковская доля отшибла бы все доброе в душе. Но не таков был жереховский дьячок. Выпала ему завидная доля. Он понял, чем может скрасить трудовую жизнь.

Его тянуло к просветительской деятельности в крестьянской среде. Тимофей Петрович задумал обучать крестьянских детей грамоте, письму и «цифири» за небольшую плату.

Дело пошло на лад, желающих было много. Точно улей оживилась тесная избушка дьячка, переполненная малышами, которых набивалось по пятнадцать человек. Было тесно, а желающих учиться становилось больше. Тогда на скудные средства он построил большую избу. В ней стало умещаться до сорока человек. Как-то быстро Тимофей Петрович обучал детей грамоте — за одну зиму, у других учителей так не получалось.

Решил бедный дьячок строить храм.

«Со мной приключилась болезнь, не знаю какая, — так рассказывал сам Тимофей Петрович. — Болезнь была настолько жестокая, что жизнь моя висела на волоске. Меня приобщили Святых Тайн, соборовали и уже готовили к смерти. А я между тем в сонном видении видел двух монахов, которые сказали мне: «У тебя нет иконы Божией Матери, именуемой „Боголюбивой". Обещай, что она у тебя будет, и ты выздоровеешь». Сказали и исчезли. Я сказал об этом своей жене, и мы решили купить икону, только бы мне оправиться от болезни».

Через несколько дней Тимофей Петрович выздоровел и приобрел в Боголюбовском монастыре святую икону, которую и пожертвовал в церковь. Священник с благодарностью принял эту посильную жертву и пожалел, что у них нет теплого храма. Эти слова священника отпечатались в душе исцеленного дьячка.

Принялся за дело.

— Что ни делаю, — рассказывает Тимофей Петрович о сооружении храма, — а душа не оставляет меня: как бы построить теплый храм на месте часовни? Думаю, с чего начать? И решил: лучше всего — с приготовления кирпичей.

Помолясь перед святой иконой в храме и не сказав никому ни слова, даже жене своей, он начал делать свои кирпичи с мыслью: если не пригодятся для церкви, то пригодятся для дома.

Десять лет лепил он кирпичи. Вышло около 40 тысяч штук. Начало положено, полцеркви готово. Нужна известка.

Продав Тимофей Петрович доморощенную лошадку, 40 ульев пчел и на эти деньги купил пятьсот пудов извести.

Теперь весь народ узнал, что он затевает. Кто хвалил, кто бранил, кто смеялся, кто считает богачом. Говорили, что он клад нашел, поживился чужим добром.

Но дьячок свое дело делал. Денег заработал, купил то досок, то бревен для храма. Таким образом, исподволь, понемногу, не сгоряча, по цене самой умеренной, все готовил. Настала пора приняться и за работу.

Помолясь с особенным усердием Божьей Матери, Тимофей Петрович написал Его Преосвященству прошение:

«Божьим внушением родилась у меня мысль построить в селе нашем теплый храм, на рубеже церковной ограды, где теперь находится часовня. Хотя и есть у нас церковь для богослужения зимой, но она тесна, имеет свод высоко поднятый и потому холодна. К такому трудному для моих средств и высокому для моего звания предприятию готовился я с давнего времени. Материалов достаточно. Прошу, Ваше Высокопреосвященство, благословить начать постройку храма».

Преосвященный разрешил сооружение храма.

Тимофей Петрович назначил и день закладки на 18 мая, но, к великому огорчению, указ из консистории к этому дню не пришел.

18 мая на предполагаемом месте стройки собрался народ. Многие пришли с деньгами, чтобы сделать пожертвование на богоугодное дело, так что староста собрал пятьдесят рублей. Прибыл и благочинный, думавший, что дьячок-строитель давно уже заручился указом, а Тимофей Петрович, полагая, что он отослан уже к благочинному, и не беспокоился о нем.

Что было делать? Приступить к делу, для которого было собрание, без указа никак нельзя и перед народом как-то неловко.

— Градом покатались из глаз моих слезы, — добродушно повествует об этом жереховский дьячок, — и, зная, Бог услышал мой вопль и избавил от нужды душу мою путями неисповедимыми. Один крестьянин начал копать ров не там, где следовало, и, наступив в приямок, увидел там золотистый ключ. Люди столпились и с любопытством смотрели на находку. Подошли и мы с отцом благочинным. Он сказал, что это ключ не простой, а какой-то камергерский:

— Православные! Честь вам делает великую то, что вы собрались здесь для закладки храма. Но

не посетуйте, если я объявлю вам, что моление при начинании храма и само начало работ должны быть отложены до другого времени. Вы сами видите, найдена вещь дорогая. Мы не знаем цены этого ключа. Может быть, это древность, указывающая на особенное значение самого места, где находился доселе этот ключ. Нужно довести до сведения начальства о находке, прежде чем начнем копать рвы. Этим мы оградим себя от обвинений в уничтожении старины. Я постараюсь, чтобы через несколько дней начались работы. Итак, прошу вас всех, православные, разойтись по домам.

Народ разошелся.

Скоро состоялась и закладка храма. Появились рабочие у Тимофея Петровича. Один столяр взялся безвозмездно сделать иконостас. За ним пошли и другие. Многие мастера работали за хлеб. За взрослыми потянулись и дети, которые, точно муравьи, таскали вместе со всеми песок и кирпичи.

«Веселое, золотое было времечко это для моего безденежья», — говорил Тимофей Петрович о начале строительных работ.

Стали возводить стены. Опять беда, известка вся вышла. Где взять? Пудов пятьдесят дал какой-то благодетель, Тимофей Петрович и этому был рад. В селе Картмазове, где добывают известковый камень, ему удалось недорого купить извести пудов семьдесят пять. Хватило ненадолго, а денег нет. Останавливать работу нельзя.

Думает и ничего не может придумать безденежный пономарь. Ночью не спится. И вот он обратился с усердной молитвой к Богу. И Он услышал его молитву. Нужно было сделать творило для смачивания извести. Выбрали место, сняли верхний пласт земли, и что же оказалось? Наткнулись на какое-то творило с известью, неизвестно кем и когда заготовленное. Известь — первый сорт! Не Божия ли это милость? Не явное ли чудо? Известь кем-то была куплена, привезена сюда, растворена, и засыпана землей как ненужная. Никто о ней и не знал, а Тимофей Петрович попал на нее совершенно случайно после усердной молитвы Господу Богу и Пресвятой Богородице.

Но вот и кирпичей осталось немного, а кладки еще много. Денег опять же нет. Просить не у кого.

Незадолго перед этим развалился старый каменный барский сарай. Тимофей Петрович сразу к управляющему. Купил весь сарай почти даром. Теперь, по милости Божьей, кирпича и известки стало достаточно. Мало того, в стенах развалившегося сарая нашелся металл. Скоро каменная постройка была закончена.

Оставалось рассчитаться с рабочими, но чем? Денег — ни копейки. Продать Тимофею Петровичу было нечего: коровы и овечки давно проданы. Вся надежда была на осень, когда можно будет продать хлеб, овес. Но рабочие ведь не могут ждать.

Бедняк-псаломщик идет просить займы. Стал он просить денег у богатого человека. Тот не дает. Он просит всего на неделю — все равно не дает, просит на четыре дня...

— А тогда где возьмешь? Как отдавать будешь? — говорит богач.

— Это дело не твое, — Бог подаст! — отвечал Тимофей Петрович.

— А если не подаст? — говорит первый.

— Говорю — подаст!

— Хорошо, до воскресенья подожду. Дай расписку в том, что я, такой-то, взял денег у такого-то на четыре дня, не более.

Дал ему расписку Тимофей Петрович, хотя и сам не надеялся в такой короткий срок выплатить долг.

Наступило воскресенье — срок отдачи денег. Литургия подошла к концу, и кредитор пришел помолиться, чего раньше никогда не делал.

Увидел его Тимофей Петрович, и сердце его замерло, слезы навернулись на глаза. Стоит он в алтаре, как истукан. Вдруг к северной двери подходит старушка и говорит:

— Петрович, Петрович! Тебе вот писулочка.

— От кого?

— Увидишь.

Снимает печать с конверта и... внутри деньги. От кого — не стал даже читать. От радости трижды поклонился перед святым престолом, отыскал своего кредитора и отдал ему долг. Не явная ли это милость Божья?

А деньги эти прислал один купец. Когда копали для фундамента рвы, найден был золотой крестик. Тимофей Петрович отослал крестик этому купцу, так как он был человек набожный и не бедный: он-то и вздумал за эту святыню прислать письмом деньги.

Оставалось последнее — сделать крышу. В свободное от полевых работ время Тимофей Петрович сам готовил лес и изготовил обрешетку под кровлю. Оконные рамы сделал недорого столяр, а деревенский староста, хороший плотник, начал настилать пол в новом храме.

Настала осень. И хлеб и овес продал Тимофей Петрович, а денег на кровлю не хватало. Но и на этот раз нашелся добрый человек. Он принес деньги Тимофею Петровичу и сказал ему:

— Отдашь деньги — возьму, а не отдашь — не потребую. Знаю, что деньги мои пойдут на храм Божий.

Чуть не в ноги поклонился доброму жертвователю обрадованный дьячок и с его помощью устроил в храме кровлю. Крест Господень воссиял на главе ее.

Пришла зима, весна. Дьячок-строитель потихоньку, своими руками то разбирал леса, то мусор выкидывал. Староста настилал полы, а столяр мастерил зимние рамы. Наконец установили иконостас.

Храм готов к освящению.

Помощник архитектора одобрил работу. И, к удивлению поселян, скоро своды новоосвященного храма огласились церковной службой.

Но после этого недолго пробыл дьячок-строитель в Жерехове. Он был переведен диаконом в село Ваганово.

С грустью проводили жереховцы своего дьячка. За 22 года Тимофей Петрович так сжился со

своими прихожанами, что стал для них самым близким человеком, который не только служил Церкви и учил детей, но и лечил поселян, собирая лечебные травы. В холерный год, когда народ в страшной панике бежал от больных, Тимофей Петрович ходил по избам, помогая несчастным. Будучи пчеловодом, он охотно раздавал крестьянам свои колодки пчел и давал им советы по пчеловодству.

Тимофей Петрович знал каждого жителя Жерехова и окрестных деревень, всякий нуждающийся находил в нем доброго советчика. Любили поселяне домик жереховского дьячка. В его тесной избенке зимними вечерами собирались односельчане, а он читал им Евангелие и жития святых. Направляли к нему и странников, не знавших, где приютиться, и они всегда находили в его доме приют.

На новом месте Тимофей Петрович опять решил заняться учительством. Надо было найти помещение для школы. В соседнем помещицьем имении он в долг приобрел сруб и перенес его в Ваганово. И к весне того же года начались занятия в новой школе. Совет определил его учителем в новую школу и, полагаясь на опыт диакона, не назначил туда другого законоучителя. Новая школа расцвела. Учительство для Тимофея Петровича было делом любви и призвания.

И опять пришла в Россию лютая холера, с которой Тимофею Петровичу пришлось воевать. Вот что писал он об этом времени:

«Я записался в санитары, заведовал казенной аптечкой с медикаментами. Боролся с холерой: ходил к больным, нисколько не стесняясь, лечил, как умел. Вот мой рецепт против холеры: если бывает удар в голову, лью горячую воду, если судороги, то растираю крапивой, окунув в вино, или керосин, или в деревянное масло. Заставлял принимать по 90 капель Иноземцева в три приема. Были случаи — больные на третий день шли на работу».

Купленное Тимофеем Петровичем старое школьное здание обветшало, и сам он уже постарел, но ему хотелось, чтобы школа цвела и после его кончины. От доброй мысли до дела у Тимофея Петровича один шаг. И он задумал построить каменную школу. Дело-то знакомое.

Как и для церкви, он исподволь стал подготавливать материалы на школу. Вел переговоры с крестьянами, чтобы уступили землю для постройки.

Услышав о желании Тимофея Петровича, его старые знакомые, жереховцы, немедленно предложили ему десятину земли и свой безвозмездный труд. Были у него и враги, тормозившие дело, но он говорил о них:

— Дай Бог им здоровья, силком тащат в Царствие Небесное.

Началась стройка. Собственными руками лепил Тимофей Петрович каждый кирпич для огромного здания. Пригласили каменщиков, — и работа закипела. Были уже возведены своды, и надо было вышибать из-под них кружала. Тимофей Петрович принялся за это дело и оказался погребен под обрушившимися сводами своей постройки.

Два часа лежал он под камнями, пока его не откопали.

Казалось бы — беда. А на самом деле этот случай избавил его от инфлюэнцы. Вот как писал он об этом событии:

«Как Господь спас, и сам не знаю. Выбирался из-под завала, хотел позвать на помощь. Выбрался невредимым. От испуга и излишнего воодушевления, что я остался жив, остатки

инфлюэнцы тут же от меня отошли. Был страшный кашель с мокротой, головная боль, опухоль ног, — все миновало, содранная кожа зажила быстро».

Новая школа была уже третьей, построенной руками Тимофея Петровича. Но это была одноэтажная школа. Через два года, схоронив свою супругу, он начал достраивать второй этаж для своего училища. Оставшись один, он не нуждался больше в своем старом доме и, разобрав его, весь материал использовал на постройку, а старое деревянное училище пошло на обжигание кирпича.

Тимофей Петрович с этой поры стал ютиться в комнатах нового училища, предназначенных для ночлега учеников.

К весне здание было готово. Это было на 50-м году церковно-общественного служения Тимофея Петровича. И как же радовался Тимофей Петрович, глядя на свое любимое творение.

«Приезжаю как-то я, — пишет по этому поводу директор народных училищ. — Идут занятия. Школа переполнена детьми. Отец диакон, скромно одетый, встречает меня. Дети приветствуют меня пением, ответы их бойки, они веселы, живы, смышлены — очевидно, что здесь их родное место. К учителю обращаются они, как к родному отцу. Отец диакон занимается и ведет свое дело с увлечением. Я бы сказал, с восторгом. Затем повел он меня осматривать еще не достроенное здание школы. Бойко взбегают по лестнице, точно юноша, этот 70-летний старец, чтобы показать свое любимое детище — школу. Воспоминание об этом посещении не изгладится никогда. Такие картины не забываются, — они слишком редки. Да, видно было, что школа Тимофея Петровича была плотью от плоти его, кость от костей его. В ней была его жизнь».

Посмотрите, как этот старичок-учитель в дьяконском сане, в день выпускного экзамена, наравне с другими своими товарищами по учебной деятельности — 20-летними юношами и девицами, трудится над составлением экзаменационного списка. Раздает учебные принадлежности своим питомцам-ученикам, и живет жизнью своих учеников. И так целые полвека.

В праздник он служит в церкви, в будни — в школе, зимой он сеет семя слова Божьего в сердца своих юных питомцев, а летом у него хватает рвения и сил заниматься домашним хозяйством.

Окончилась 50-летняя трудовая деятельность Тимофея Петровича для родных ему сел Жерехова и Ваганова. Он теперь отдыхает в доме старшего сына в Беловодской слободе. Такой у него отдых:

«Дед открыл школу грамоты в Беловодской, у него уже 50 учеников, и работает, как юноша. Теснота в школе невероятная — дышать нечем. Но говорит: не изжену вон приходящего ко Мне — и все принимает учеников и учениц. Должно быть, скоро будет учить из окошка. Вечером плетет сеть для ловли рыбы, а пока тепло было, рыл ямы под виноградник. Всякий по-своему понимает отдых».

Любовь и вера — это самые могущественные, созидательные силы. Дело не столько в богатстве, сколько в вере в Бога и в любви к труду и людям.

Всей своей жизнью показал это добрый труженик — протестант-диакон. Он, как пчелка, вечно в трудах. Добивался, терпел и побеждал.

Искушение колодника

Царь Петр Алексеевич поручил князю Федору Юрьевичу Ромодановскому заняться благоустройством «острожного» дела. Ромодановский отправился осматривать московские застенки и тюрьмы. Прибыв в колодную тюрьму, он в сопровождении смотрителя и стражи прошел по всем ее коридорам, заглядывая в камеры и расспрашивая о преступниках.

Вдруг один из колодников говорит ему:

— Светлейший князь! Знаем мы, что ты человек набожный и богобоязненный, считаешь память святых угодников, чтить святителя нашего Николая Чудотворца. Ради него, милосердного, окажи милость,пусти меня домой на два дня.

— Что? — воскликнул Ромодановский. — В уме ль ты, что решаешься просить об этом?

— Я в полном уме и памяти, — продолжал колодник. — Скажу лишь, что на моей родине очень почитают праздник вешнего Николая. Там в сельском храме есть престол угоднику. К тому же истосковался я по молодой жене и детям. Обнять и расцеловать их хочу.пусти меня.

— Что это за человек? — спросил князь.

— Убийца царского воина, — отвечал тот.

— Какого?

— Убил преображенца, — пояснил смотритель. — Правда, в запальчивости.

Тем временем колодник продолжал:

— Милосердный князь. Действительно, я преступник, каюсь. А все-таки хотелось бы побывать на родине. Прошу всего два дня. Будь уверен, что на третий день вернусь сам.

Понравилась столь открытая речь арестанта князю, и спросил он его:

— А кто поручится за тебя?

— Святой Николай Чудотворец, — отвечал заключенный. — Он, угодник Божий, будет мне порукой на случай соблазна.

Взглянул тут Ромодановский прямо в глаза арестанту, и что-то умильно-хорошее шевельнулось в его душе.

— Расковать и отпустить его на два дня, — приказал он, махнув рукой в сторону колодника.

— Ваша светлость, — сказал смотритель, — осмелюсь доложить, обманет он вас. Ему бы только из тюрьмы выбраться, а там поминай как звали. Ведь для этих колодников нет ничего святого в мире.

Задумался Ромодановский.

«В самом деле, — размышлял он. — Уйдет арестант, где его искать потом? Может, он не на родину просится, а так, на волю вольную. Эх, видно, погорячился я. Впрочем, Ромодановские своих слов назад не берут».

И князь повторил:

— Отпустить его из острога на два дня! Верю, что вернется он назад. Святой поручитель не допустит обмана.

Колодник бросился к ногам доброго князя, а смотритель, угрюмый и мрачный, приказал страже расковать преступника.

И вот, по селу Никольскому, в разгар праздника, идет в толпе временно освобожденный арестант. На руках держит красивого ребенка, крепко ухватившегося пухлыми ручонками за шею отца. А рядом идет его статная жена, ведя под руку шустрого мальчугана.

— Муженек мой горемычный, — говорит женщина, — не оставляй нас, сиротинок. Смотри, как хорошо и привольно на свободе. А там тюрьма, неволя. Правда, ты убил солдата царского. Но сделал ты это без злого умысла, ненароком и нечаянно. Зачем же мучиться тебе в заточении вечном и губить несчастную семью?

— Нельзя, родная, — отвечает арестант. — Я обещал.

— Мало ли, что ты обещал, — продолжала жена. — Если не вернешься к ним, то никто не сможет сделать ничего. Убежим отсюда, уйдем на вольный Дон. Заживем свободной жизнью. Сыны наши станут казаками удалыми и за тебя царю-батюшке послужат.

Задумался арестант над соблазнительными словами жены.

«Уйти на Дон, зажить вольготно... Но будет ли действительно хорошо там? А совесть? А как же святой поручитель, что сильнее всякой тюрьмы и каторги? Что я стану делать, обманув его? Не станет ни удачи, ни радости, ни счастья. Иссохну и сгину я хуже раба подневольного. Недаром же князь сказал: Святой поручитель не допустит обмана...»

Что-то властное, мощное остановило его, направляя разум к истине и правде. И сказал арестант:

— Нет, святитель Николай не допустит. Я должен поступить по правде и совести.

И на другой день попрощался с семьей:

— Тяжело мне расставаться с вами, но чувствую, что совесть моя спокойна. Верю, что мой великий поручитель спасет меня от дальнейших бед и несчастий.

Через два дня он уже снова был в Москве. Пришел в тюрьму за час до того, как подъехал Ромодановский.

— Я, — сказал князь встретившему его смотрителю, — ехал мимо тюрьмы и вспомнил про колодника, который заручался порукой угодника Николая. Срок кончился. Вернулся он?

— Да, ваша светлость, — отвечал смотритель, — поразительный пример. Он вернулся в срок и теперь снова в тюрьме.

— Похвально! — воскликнул князь. — Сегодня же увижу царя и расскажу ему об этом редком случае.

На другой день тюрьму облетела весть, что царский посланец увез арестанта во дворец.

А когда тот вернулся, его расспросили, что говорил ему царь-батюшка.

— Наш государь, — отвечал арестант, — сам пожелал узнать о моем преступлении. Потом, выслушав мое признание, сказал, что сократит мне срок. Тут арестант перекрестился и с чувством добавил:

— Слава Чудотворцу Николаю, который в трудную минуту помог мне побороть искушение.

Вскоре арестанта освободили, и он вернулся к красавице-жене и детям.

Старец Даниил

Старец Даниил родился в приходе Успенской церкви. В детстве был смирным, незлобивым, грамоте не учился. Его холостого призвали на военную службу, в ратники, а потом определили в артиллеристы. Его судили за намерение уйти со службы для пустынножительства и отправили в ссылку в Нерчинск на рудники.

На винокуренном заводе Даниил работал несколько лет под начальством пристава, который с охотой его мучил. Пристав называл его святошей, посылал на самые тяжкие работы, но Даниил исполнял все неукоснительно, а ночи простаивал на молитве.

Ел только хлеб с водой. Днем, когда все отдыхали, он уединялся для молитвы. Пристав насмехался над ним:

— Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!

Однажды, зимой он посадил его, обнаженного, на крышу своего дома, велел поливать его водой из шланга и кричал ему:

— Спасайся, Даниил, ты святой!

Тот ничего не отвечал, а только молился о нем Богу. Но Бог наказал жестокого пристава: у того вдруг повернуло голову, да так, что лицо оказалось сзади.

Жена стала укорять его за неповинного старца. Тогда он приказал позвать к себе Даниила и попросил у него прощения — и после этого выздоровел и начал уважать старца.

А когда пристав с кучером сбились с дороги и попали в буран, то он опять заочно попросил прощения у старца, обещая отпустить его — и они вдруг очутились рядом с дорогой и были спасены.

Пристав написал губернатору, что Даниил не способен к работе, и отпустил его на волю.

Старец переселился в Ачинск и построил себе маленькую келью. Потом переселился в дом купца Хворостова, где также поставил келью, в которой двоим нельзя было поместиться.

Он трудился: по ночам копал в огородах, чтобы его не видели за делом, косил и жал в поле до изнеможения, немного отдыхал и обедал хлебом с водой. Перед тем как поесть, он под пояс забивал деревянный клин, чтобы меньше помещалось.

В последние годы он жил в деревне Зерцалы у крестьянина, и здесь келья его была настоящим гробом. В своей келье он мог поместиться только стоя на коленях для молитвы. Окошко — в медный гривенник. Эта келья, говорят, сохранилась. Даниил более двадцати лет носил

тяжелые железные вериги и берестовый пояс, который уже врос в его тело. С ним его и похоронили. Еще он носил на теле железный обруч.

Вериги Даниил незадолго до смерти с себя снял, объяснив это так:

— Любезный брат, потому я снял с себя вериги, что они не стали уже приносить мне пользы: тело мое так к ним привыкло, что отнюдь не чувствует тяжести.

Тело его было как восковое, лицо приятное и веселое, с легким румянцем. Он постоянно постился, исповедовался и причащался Святых Тайн.

Даниил никогда ни от кого не принимал денег. Преосвященный Михаил Иркутский, зная это, но желая передать ему хоть какую-нибудь сумму, посетил Даниила и просил проводить его, и когда они вошли на паром, то Преосвященный вручил старцу просфору. Тот же, не принимая просфоры из рук владыки, отломил от нее верхнюю часть и сказал:

— Владыко святой, мы ее с тобой разделим пополам: верхнюю часть мне, а нижнюю тебе.

Владыка удивился прозорливости Даниила и, поклонившись ему до земли, сказал:

— Прости меня, брат Даниил.

В нижней части просфоры владыка спрятал пятирублевую ассигнацию, что, однако, не скрылось от старца.

О прозорливости старца Даниила известно много, вот один из примеров.

Прибыв в Ачинск, он случайно познакомился с одной семьей. Он сказал хозяйке, что ей уготовано черное покрывало, что у нее будет монастырь и церковь богатая. Муж этой особы умер, и она решила, о чем никогда не думала, идти в монастырь. И спросила — в какой: Иркутский или Енисейский? «Поезжай в Иркутский, будешь и в Енисейском». И действительно, поступив в Иркутский монастырь, она была назначена игуменьей в Енисейский монастырь.

Она и пригласила старца Даниила в свой монастырь, где он предал Богу душу.

Безвестный пустынный

Жил у нас в селе благочестивый мещанин Егорыч. Он любил меня за то, что я, восьмилетний мальчик, рассказывал ему то, что выучил из Священной истории и житий святых. За нашим селом начинался дремучий бор, и мы часто с Егорычем ходили в лес по грибы и ягоды.

Лето было засушливое, но Егорыч думал, что в самой глубине нашего бора должны были все-таки уродиться грибы.

Как-то раз рано утром он зашел за мной, чтобы вместе идти в лес. Шли мы очень долго и забрели в такую чащу, где, казалось, никогда не ступала нога человека. И точно, там оказались грузди.

Мы стали их собирать и немного разошлись в разные стороны. Оглядываюсь — нет Егорыча. Вдруг слышу:

— Ау!

Я побежал на голос и вижу: стоит Егорыч и манит меня.

Подошел к нему, вижу: стоит он на краю глубокого оврага, показывает мне вниз и говорит шепотом:

— Смотри и молчи.

На дне оврага струился ручей, а на берегу виднелся пригорок, а в нем землянка. Я сначала испугался, — подумал, что там живут разбойники. Но Егорыч меня успокоил. Мы сели под лапами старых елей и стали ждать.

Вдруг из землянки вышел человек лет тридцати, в черной власянице, в скуфейке на голове и с кувшином в руках. Он подошел к ручью, снял скуфью и, перекрестившись несколько раз, зачерпнул воды, и вернулся обратно в землянку.

— Это человек Божий, — сказал Егорыч, — пойдем к нему.

Мы спустились в овраг, подошли к землянке и, постучав в дверь, вошли.

В углу, перед иконами Спасителя, Божьей Матери и преподобного Сергия, теплилась лампада и лежала книга на пеньке. В другом углу была устроена мшистая постель, рядом стояла лавочка, на которую усадил нас пустынник.

Он угостил нас сухарями в деревянной чашечке с холодной водой, и это простое угощение показалось мне тогда очень вкусным. Потом он спросил, кто мы и откуда, и, узнав, что я сын священника, особенно ласково посмотрел на меня.

Егорыч спросил пустынника, кто он, — и тот, назвав себя отцом Макарием, сказал, что живет здесь ради спасения своей души и по благословению старца Самуила из Голутвина монастыря.

Он проводил нас и на прощание просил никому не рассказывать о его пустынном убежище. Я исполнил до поры свое обещание и никому, даже матушке, не рассказал о пустыннике.

Тем же летом спросил я как-то у Егорыча, был ли он у отца Макария. Он сказал, что был, но землянка пуста и дверь снята с петель.

— Вероятно, вернулся в свой монастырь, — сказал Егорыч.

Осенью я уехал в училище и позабыл об отце Макарии.

Следующим летом, вернувшись домой, я вспомнил о пустыннике. Егорыч рассказал мне, что он часто видится с отцом Макарием, который строит себе деревянную келью, и даже помогает ему, а место, где он строится, такое глухое, что днем там так же темно, как вечером. А место это близко от нас, всего в трех верстах, чтобы быть поближе к церкви, и что он хочет познакомиться с батюшкой.

Я рассказал все отцу. Егорыча послали за отцом Макарием. Я хорошо помню, с каким воодушевлением говорил он о преподобных отцах Фиваидских и Палестинских и прочих пустынножителях. Он говорил батюшке, что иногда ему становится жутко в одиночестве, но что молитва его подкрепляет, а кроме молитвы — благовест церковный.

Но враг нашего спасения, завидуя подвигам пустынника, стал наводить на него ужас. Отец Макарий пал духом и решил уйти в отдаленный скит. Он пришел прощаться к нам с котомкой

за плечами, заперся с батюшкой в комнате, и я не знаю, о чем они беседовали.

Когда он вышел, лицо его светилось радостью.

— Я остаюсь, — сказал он мне, — и приходи ко мне в келью с батюшкой или с Егорычем.

Я часто виделся с ним тем летом и близко узнал его строго-подвижническую жизнь.

Теперь, когда я ближе познал мир, а прожита уже большая часть жизни, скажу, что с тех пор мне не приходилось видеть человека более строгой жизни.

Молитвословия 1,3,6,9-го часа он совершал своевременно, полночь всегда заставляла его в молитве, и он пел: «Се Жених грядет в полунощи...» Молоко, которое приносил ему Егорыч, он кушал по большим праздникам, питаюсь в остальные дни хлебом.

После того лета я поступил в семинарию, которая находилась далеко от родного села, и редко с тех пор виделся с отцом Макарием. Но одно из этих свиданий особенно мне запомнилось.

Приехал я как-то на Страстной неделе домой и встретил Егорыча у нашего дома.

— А я иду за отцом Макарием! — сказал он мне. — Он завтра хочет слышать в нашей церкви Евангелие о страстях Господних — просил зайти за ним; а то с непривычки трудно по такой распутице идти одному теперь по лесу.

Я упросил Егорыча взять меня с собой, и мы пошли с ним после вечерни, делая на деревьях заметки.

Поздно вечером добрались мы до кельи отца Макария, который, как всегда, очень приветливо встретил нас. Потом он пошел молиться, и я молился с ним часа два, но устал и пошел к Егорычу. Он сидел у открытого окна в глубокой задумчивости.

— А отец Макарий все молится, — сказал я ему.

— Все здесь хвалит Бога, — отвечал он мне. — Слышишь?

Я стал прислушиваться. И слушал я то, что никогда в жизни больше не слышал или не мог услышать. А тогда я почувствовал эту весеннюю ночь, понял, что вся природа — и деревья, и птицы, и свежий весенний ветерок — все слилось в один гимн Богу — Творцу вселенной.

Вдруг, у самой кельи послышался волчий вой. Я побежал к отцу Макарию, забыв, что он молится.

— Чего ты боишься? — спокойно спросил он. — Ведь они благодетели наши. Они должны напоминать нам о других хищных зверях, которые внутри нас и гораздо опаснее внешних зверей.

Когда мы вышли из кельи, направляясь к заутрене, ни один волк не попался нам навстречу. На востоке алела заря, и весь лес, казалось, продолжал славить Творца. Отец Макарий, обливаясь слезами, простоял все двенадцать Евангелий на коленях.

Прошло немало лет. Сам я давно дьяконствую, но далеко от родины, но моему младшему брату повезло. Он получил батюшкин приход и переехал в этот уютный домик, где когда-то текло наше детство.

Среди забот я нашел время съездить на родину, поклониться могиле нашего отца, посмотреть на жизнь брата.

От него я услышал об отце Макарии. Что он чуть живой лежит в больнице. Я тотчас поехал к нему и едва узнал: он лежал весь израненный, избитый, похудевший. Он же, узнав меня, обрадовался так, что тронул меня до слез.

— Батюшка! Что это с вами? — спросил я.

Он рассказал мне, что прошлым летом недалеко от его кельи крестьяне из отдаленной деревни снимали покос и часто приходили к нему то за хлебом, то за солью. Отец Макарий давал им и сухарей, и крупы, когда она была у него. Крестьяне подумали, что пустынник богат, и решили убить его и завладеть деньгами.

С отцом Макарием в последнее время жил послушник. Он вышел к ним навстречу, но они его связали и оставили в сених. Войдя к пустыннику, стали требовать денег. Он отдал им с радостью свой единственный рубль, но они не поверили, что у него не было больше, и стали пытать. Отец Макарий подумал, что настал его последний час. Но вдруг раздался церковный благовест. Злодеи бросились в сени и, увидев, что послушник освободился, они поспешили скрыться.

Послушник вернулся с народом, и отца Макария увезли в город, в больницу, где я его и увидел. Он знает всех злодеев, но просил не преследовать их. Однако их поймали и отдали в руки правосудия.

— Доктор надеется на ваше выздоровление, — сказал я отцу Макарию. — Тогда вернетесь ли вы на прежнее место в свою пустынную келью?

— Хотел бы, — отвечал он мне слабым и дрожащим голосом. — Но знаете: дух бодр, плоть же — немощна. Нет! Довольно понес я трудов пустынножительных. Если Господь продлит мне жизнь, надо мне понести труды общежития. Пойду тогда в монастырь, ближе к Божьему храму. Ведь нет на земле более надежного и безопасного пристанища, чем храм Божий.

Алексий, Человек Божий

Родителями Алексия, человека Божьего, были римский князь Евфимиан и его жена Аглаида. Единственный, поздний ребенок был окружен особенной заботой. Алексия ждала богатая мирная жизнь и высокое положение в обществе. Но не тем путем пошел избранник Божий.

Женившись по воле родителей на невесте из царского дома, он внезапно почувствовал в себе неудержимую силу Божественного призвания к нищете телесной и духовной. Не закончился еще свадебный пир, как он, вручив супруге золотой перстень и пояс, сказал:

— Сохрани это, Бог будет между нами до тех пор, пока благодать Его устроит между нами нечто новое.

И оставил родительский дом.

Переодетый в бедную одежду, Алексий добрался до порта и сел на корабль в Лаодикию. Высадившись на берег, Алексий отправился в Месопотамию, в город Эдессу, где находился Нерукотворенный образ Спасителя.

Семнадцать лет он жил на паперти храма, питался милостыней, делился с другими нищими, ел

ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Весь был углублен в молитву и еженедельно приобщался Святых Тайн.

Изнуряя плоть, Алексей вскоре так иссох, что никто бы не узнал в нищем, изможденном и покрытом лохмотьями великого подвижника, если бы не указал на него Промысел Божий.

Однажды служащий из церкви, на паперти которой обыкновенно просил милостыню Алексей, услышал во сне слова Божьей Матери:

— Введи в церковь Мою человека Божьего.

Человеком Божиим был назван Алексей. С тех пор имя Алексия, как строгого подвижника, стало известно всем эдессянам.

А Алексей, тяготясь человеческой славой, тайно ушел из Эдессы и, достигнув морской пристани, сел на корабль, шедший в Киликию, с намерением приютиться в городе Тарсе, при храме святого апостола Павла. Но корабль, на котором он ехал, был занесен бурей к берегам Италии. Видя в этом указание Промысла Божьего, Алексей решил остаться на родине и здесь, в доме родителей, продолжать свой подвиг нищеты и лишения — среди земного богатства.

Явившись в дом отца нищим, он сказал ему:

— Приюти меня, дай мне питаться со стола твоего. И над тобой будет благословение Божье, и если кто странствует из родных твоих, то Бог даст тебе увидеть того, по желанию сердца твоего.

Отец не узнал своего любимого сына.

Обижаемый слугами, голодный, в рубище нищего, прожил Алексей в родительском доме так же, как и в Эдессе, почти 17 лет. Господь прославил кончину великого подвижника.

Незадолго до его смерти, во время богослужения Римского епископа Иннокентия, в присутствии императора Гонория, в храме два раза прозвучали слова:

— Ищите человека Божьего в доме Евфимиана.

Действительно, в уголке дома Евфимиана был найден мертвый нищий. Он лежал с покрытым лицом, в руке его был свиток. Когда приподняли с его лица покрывало, то увидели, что лицо его сияет. Когда взяли из рук свиток, то увидели, что это была хартия, в которой Алексей описал свою жизнь. Она заканчивалась следующими словами:

«Прошу родителей моих и супругу мою не сетовать на меня за их неутешную скорбь. Мое сердце болело о вашей скорби. Много раз я молил Бога укрепить вас в терпении и даровать вам Царство Небесное. Верую, что сколько вы претерпели через меня печали, столько же будете радоваться при Небесном воздаянии».

С великими почестями по царскому приказанию было вынесено тело человека Божьего из дома Евфимиана в церковь. Весь Рим сошелся чествовать останки открытого миру праведника — и многие больные получали чудесные исцеления.

Великий подвижник похоронен на Авентинском холме, на котором воздвигнута церковь его имени.

Вериги

Есть еще на свете люди бескорыстные, которые заботятся о других, забывая о себе. Именно такого человека хоронили на Митрофаньевском кладбище в Петербурге. На похороны собралось так много народа, что нельзя было предположить, что хоронят простого крестьянина.

Дедушку Михалыча знали все столичные бедняки, ютящиеся на чердаках и в подвалах Петербурга. Он прибыл в город семнадцать лет назад, одетый в сермягу, с тощей котомкой и с посохом в руке. На него никто не обратил внимания, считая его обыкновенным странником.

Но вскоре начали замечать, что по Сенной площади ходит какой-то странник и раздает бедным больным деньги и еду, — кому полтинник, кому двугривенный, кому краюху хлеба. Сам в сермяге, в лаптях, не лучше другого нищего, а бедным деньги раздает.

— Ты бы, дедушка, себе на черный день приберег, — говорили ему, бывало, те же бедняки.

Но дедушка знал одно: приходил в жилища бедняков, раздавал то, что у него было припасено в котомке, и безмолвно уходил.

Предполагали, что это богатый человек, что ему некуда девать деньги. Говорили, что он замаливает какой-то грех, который лежит у него на душе. Но, наконец, выяснили, что дедушка Михалыч сам ходит по знакомым купеческим домам, собирает милостыню, и все раздает нищим и больным. Сам он питался исключительно хлебом и водой.

Популярность его росла среди столичных бедняков. Купечество, узнав об образе жизни дедушки, считало за честь пустить его переночевать.

За неделю до кончины он простудился. Его отправили в больницу. Когда его раздели, то на исхудалом теле обнаружили железные вериги в пуд весом. На вопрос доктора, давно ли он носит эти вериги, дедушка отвечал, что он не снимал их с себя ровно 25 лет. Так как вериги были не на крючках, а скованы железным кольцом, то, по приказанию доктора, их пришлось распилить.

Звали дедушку Александром Михайловым Крайневым. Его вериги и тяжеловесный посох хранятся сейчас в ризнице кладбищенской церкви.

Это — он

На окраине Москвы среди бараков и бесконечных высоких заборов стоял небольшой серенький домик с покосившимися ставнями и некрашеной крышей.

В этом домике жил пожилой человек, терпящий сильную бедность.

Трудолюбивый с молодых лет, он всегда жил своим трудом, никогда и ни в чем не нуждаясь. Семьи у него не было, и он ничего не сберег на черный день, надеясь на свои силы.

Но черный день настал. Нищета нагрянула неожиданно-негаданно.

Давно известно, что довольный человек забывает о Боге, так было и с ним. Господь отвернулся от него. Человек заболел, когда у него ничего не было.

Он переехал из центра города на глухую окраину. И здесь, быть может, умер бы с голода, если

бы не один старый друг, который иногда помогал ему.

Так неожиданно потерять здоровье, которое давало ему все, и от безбедного существования перейти к нищете, — было ужасно.

— Если тяжело, — говорил он, — никогда ничего не иметь, то иметь и потерять все сразу — во много раз тяжелее.

Он вспомнил всю свою жизнь, ее хорошие стороны, и невыносимая тоска охватила его. Как хотелось ему вернуть прошлое, вернуть дни беззаботной жизни.

Но болезнь приковала его к креслу. Он едва мог сделать десять шагов.

Страдания исказили его лицо. Он поседел и высох. Так прошел месяц, другой, а страдания не уменьшались.

Горька, тяжела одинокая жизнь, особенно для больного.

Придет, бывало, к нему его старый приятель, принесет немного денег и провизии. Посидит с ним, поговорит, утешит, но больше ничего сделать не может.

— Неужели этому конца не будет? — сквозь слезы говорил больной.

Но конца не было видно. Страдал он по-прежнему, и по-прежнему крики оглашали его неприветливую обитель.

Прошел месяц, другой, третий, год. Больной едва влачил жалкое существование.

Было теплое, майское утро. Все кругом пело, ликовало и веселилось. Больной сидел у окна, тяжелые думы бродили в его голове. Вспоминалось ему, как радостно раньше встречал он пробуждение природы, а теперь... и слезы навертывались у него на глазах.

Далеко-далеко унесли его мечты и воспоминания, и ему больше, чем когда-либо, захотелось жить. Захотелось ожить вместе с природой. Он заплакал:

— Господи, помилуй меня! Не лиши и меня, грешного, Своей милости! — в слезах воскликнул он.

Всю свою жизнь он так мало думал и вспоминал о Боге, что когда это горячее восклицание вырвалось из его души, — он пришел в ужас от своей прежней жизни, ему стало страшно, захотелось молиться и молиться без конца.

Он выглянул в окно: вдали виднелся золотой купол церкви. Больной обрадовался. Со слезами искреннего раскаяния он стал креститься и шепотом читать молитвы. Ему вдруг стало легко и приятно на душе после этой молитвы, и даже легкая улыбка появилась на его лице.

Прошло минут пять.

Он все еще сидел у окна, изредка осеняя себя крестным знаменiem. Вдруг он заметил, что с другой стороны переулкa к нему приближается молодой странник.

Больной опустил руку в карман, достал последнюю оставшуюся у него медную монету и протянул ее прохожему.

— Не нужно, — сказал тот, отстраняя руку.

Больной посмотрел на него с удивлением.

Ему очень понравилось лицо странника.

— Но что же вам нужно? — спросил больной.

— Я пришел сказать тебе: веруй в Бога, молись Ему, — и Он спасет тебя.

— Верую! — в слезах воскликнул больной. — Но недостойн Его милости за грехи мои.

Странник помолчал с минуту и сказал:

— Ты сильно страдаешь. Бог сжалился над тобой. Иди к угоднику Божьему Пантелеймону и молись, молись усердно.

Больной слушал и как будто не понимал, что вокруг него делается. Когда он пришел в себя, у окна уже никого не было.

На другое утро к нему пришел его друг.

— Что с тобой? — спросил он. — Тебя узнать нельзя.

Больной рассказал ему все и попросил проводить в часовню.

Через час они вышли из дома. Опираясь на руку друга, больной едва передвигал ноги. Он никогда не был ни в каких часовнях, и ему пришлось расспрашивать прохожих. Все охотно указывали ему путь.

Долго они шли, и один Бог видел, сколько страданий вытерпел больной. Каждый шаг отзывался страшной болью во всем его теле, но он все-таки шел, крестясь на попадающиеся по дороге храмы.

Наконец они подошли к часовне. Перед входом больной перекрестился и, в сильном волнении, вошел. Слезы были на его глазах.

Но только он подошел к иконе, как вдруг побледнел и прошептал:

— Это — он!

Потом стал горячо-горячо молиться.

На иконе он увидел лицо того странника, который вчера стоял у его окна.

Долго он молился. Ему не хотелось уходить отсюда, не хотелось подниматься с колен.

Наконец он встал и, взяв друга под руку, вышел.

Светло, благодатно было у него на душе, оживила его твердая вера в милосердие Божие и Его святого угодника.

Прошла неделя. Хозяин серенького домика сильно изменился. Теперь бывший больной без посторонней помощи выходит из дома, наслаждается весной, и сердечно благодарит

Всевышнего, Который помиловал и исцелил его.

Странник

Яркое июньское солнце заливало землю. В воздухе пахло прохладой после благовонной, теплой ночи. Я стоял посреди двора и думал:

«Хороший будет денек, следует сегодня сходить в Курасовку».

Напившись чаю, выдвинулся в путь. Предстояло пересечь несколько слободских огородов и верст десять пройти полем. Расстояние порядочное, особенно в летнюю жару, но когда идешь к родному и близкому человеку — трудностей не замечаешь.

За слободой передо мной раскинулось широкое ржаное поле, на горизонте тянулись синеватой полосой графские леса, справа виднелись красноватые горы Гремячки, а слева чуть заметно белели дома и соборы нашего города.

Двигаясь вперед по пустынной дороге, я с удовольствием вдыхал живительный воздух. На четверти пути выбрал для отдыха живописное местечко и, растянувшись на траве, стал наблюдать за полетом коршуна, который парил надо мной. Вдруг слышу:

— Эх, благодать какая. Рай земной, да и только. Здравствуйте, молодой человек.

— Здравствуйте, — ответил я.

Передо мной стоял странник с непокрытой головой, лет пятидесяти, и, опираясь на длинную палку, по-доброму смотрел на меня. Его лицо окаймлялось русой бородкой, на голове была небольшая плешь, а сзади на плечах белели редкие пряди седоватых волос. Одет он был в заплатанный черный подрясник и подпоясан простым широким ремнем. За плечами у него была подвязана холщовая сумка, сбоку болтался белый жестяной чайник, на ногах — ветхие сапоги, в руках длинная палка.

— Я говорю, — продолжал между тем странник, улыбаясь, — в какую дивную красоту облачил Всемогуший Господь природу. И как я люблю ее в этой прелестной дикости, не искаженной цивилизацией.

По словам странника было видно, что человек этот не простой. О чем я и сказал ему.

— Да, молодой человек, — отвечал он, — когда-то я многому учился, был богат и знатен, да все уж миновало. — Вы не видели Бога, молодой человек?

— Нет, — отвечал я ему с удивлением.

— И я не видел. А присутствие Его в себе и около себя вы ясно ощущаете? Верите ли, например, что Он находится сейчас не только между нами, но и проникает все наше существо и слышит не только наш разговор, но и наперед знает все то, что мы скажем в будущем?

— Конечно: ведь Он Вездесущий.

— Очень хорошо, вы счастливы, что верите во все эти истины без сомнения, а некоторые в наше время и слышать не хотят об этом. Теперь многие не признают существования Бога. А ведь доказательства Его присутствия у нас перед глазами. Возьмем, например, это бездонное синее небо. Что мы видим? Ничего, кроме солнца и прозрачного воздуха. Спрашивается: каким

же образом на нем держится светило, или эта земля, или звезды? Почему планеты не разлетаются в разные стороны? Или солнышко. Кто его зажег с благой целью развивать и поддерживать жизнь всего живущего? Слепой, бессмысленный случай в виде внезапного столкновения двух планет, как утверждают некоторые? Но что случайно, то не может приносить так долго и такой великой пользы всему живущему. Очевидно, что его зажег не кто иной, как премудрый Творец мира, в Которого мы веруем и Которого мы называем своим Отцом. Посмотрите теперь на эту цветущую землю. Какая красота нам открывается. Какое благоухание. Какие звуки. Стройные стебли злаков, мягкая травка, прелестные цветы напоминают нам о стремлении к добру и общении с Богом, Который есть источник и полное воплощение всякого добра и красоты. Пение птичек, шелест миллионов насекомых, ползающих у наших ног и твердо знающих свои обязанности. И подобных доказательств — множество. Однако мне пора. Прощайте, молодой человек.

Странник стал подниматься.

— Пойдите, — сказал я, — мне с вами...

Мы пошли рядом. Я заинтересовался загадочной личностью странника и приступил к расспросам.

— Расскажите мне, пожалуйста, — говорю ему, — о вашем прошлом. Ведь вы говорили мне, что когда-то много учились, были богаты, знатны, а теперь в рубище странствуете по святым местам.

Странник кротко улыбнулся и посмотрел на меня так, что я невольно смутился.

— Вы желаете, — сказал он, — чтобы я воскресил перед вами то, что давно уже умерло. Как мне ни тяжело вспоминать то, что я, казалось, навсегда уже похоронил в своей душе, — я готов, если вы так просите, рассказать вам о своей жизни.

И странник начал свой рассказ:

— Родился я в богатой и знатной семье. В молодости учился в гимназии, потом в университете. Получил хорошее место, обзавелся семьей и жил припеваючи. С самого раннего детства я был человеком религиозным и уже в гимназии думал о монастыре. Но со временем, я перестал думать не только о монастыре, но даже о Боге и всецело предался удовольствиям светской жизни. Тогда-то Господь и стал будить меня от духовного сна с помощью несчастий. За год я лишился семьи. Родные умерли от разных болезней. Горе мое было ужасно. Я заболел, а когда выздоровел, то глубоко понял слова святого мудреца, сказавшего: «Все суета сует», — и не мог уже после этого жить среди беспечного мира. Я продал недвижимость, и, не оставив себе ни копейки, тайком направился к монастырю. С тех пор я странствую по святым местам, и нахожу утешение.

— Вот вам, дружок, все мое прошлое, — закончил странник свой рассказ. — Странствую я пятнадцатый год, и за это время успел посетить столько монастырей, что и не перечесать. Я исходил несколько раз вдоль и поперек все наше Отечество, побывал на Святой Земле и на Афоне, а теперь пятый раз иду в Киев.

— Значит, вы привыкли к странничеству?

— Можно сказать, что да. Сначала было трудновато, а теперь так привык, что если случится заболеть и пролежать дня два-три, то я больше страдаю оттого, что не могу двигаться, нежели от самой болезни.

— Но ведь странничество сопряжено с множеством неудобств и лишений: с холодом и жарой, голодом, беспомощностью и бесприютностью?

— Вы забыли о терпении, — кротко возразил мне странник. — В Евангелии сказано: терпением вашим спасайте души ваши, и еще: Царство Божие силою берется.

Мы прошли вместе верст пять и распрощались. Я остановился, чтобы вернуться на свою дорогу, а странник пошел дальше. Я не спускал с него глаз, пока он не скрылся вдали. Мне было грустно, как будто я навсегда распростился с дорогим мне, родным человеком.

По слову Твоему

Под величественными сводами Казанского собора перед иконой Казанской Божьей Матери толпятся богомольцы. Среди них молится юноша в студенческой форме:

— Царица Небесная, Заступница, Ты видишь муку мою. Я изнемогаю, помоги! — Голова его склоняется к холодному мрамору пола, и беззвучные рыдания сдавливают молодую грудь. — Владычица, помоги же, — шепчет он, — мне трудно, но пусть будет воля Сына Твоего и Твоя. Я решился... Иду в мир, по слову Твоему, Господи. Подкрепи же!

Юноша поднялся. На его лице еще сверкали капли слез, но оно дышало решимостью.

Виктор Тарский (так звали юношу) подошел к иконе Божией Матери, поставил свечу, приложился к святыне и твердо, как человек, нашедший цель жизни, вышел из храма.

— Господа! — сказал Тарский, войдя в гостиную своего дядюшки, у которого он жил. — Господа, я решил: иду в священники...

Ему не дали договорить.

— Виктор Платонович, да что с вами? Вы — священник? Вы хотите похоронить все свои таланты под рясой? Да и кто теперь идет в священники? Полноте, не срамитесь...

— Слушай, Виктор, — сказал дядя, — не дело ты затеял. Я не презираю деятельности священника, но только не с такими способностями идти в священники. Пусть туда идут...

Юноша перебил:

— Нет, господа, вы не правы. Именно сильные, талантливые и должны идти в священники. Самая кипучая и боевая — это деятельность священника. А то, что теперь над священниками издеваются, пусть... И Христа гнали. Гонят и Его служителей, но веры не потушат. Счастье, так всеми желаемое, может дать только религия, вера. А кто же лучше всего может дать это религиозное, а потому вечное счастье? Только священник. Как хотите, но я не изменю своего решения.

Гости насмешливо смотрели на молодого человека.

— Нет, Виктор Платонович, не все осуждают вас, — сказала молодая девушка, одиноко сидевшая возле камина, — я понимаю вас: зажечь других верой — это самое высшее счастье, которое доступно человеку. Я вам сочувствую и от всей души желаю исполнить свою мечту.

Тарский подошел к девушке, крепко пожал ей руку и сказал всем:

— Прощайте!

Было хмурое октябрьское утро. У ограды Новодевичьего монастыря над свежей могилой стоял священник. Грустно-грустно смотрел он на крест, на котором черными буквами было написано:

«Нина Александровна Тарская».

«Да, — думал священник, — вместе хотели работать. Бог не благословил. Да будет воля Твоя».

— Батюшка, может быть, вы не оттолкнете меня?

Отец Виктор вздрогнул. Он не думал здесь встретить кого-либо.

Перед ним стояла ярко одетая девушка. Все лицо ее было в слезах, сквозь которые проступали следы нескромной жизни. Жалко было смотреть на нее, и отец Виктор не сразу нашелся, что сказать. Наконец ему удалось ее немного успокоить. Она села и рассказала историю своей жизни.

Все тут было как обычно. Пьяный отец, неумная мать. Грязь, смрад подвала. Вечные пинки и, наконец, «улица».

До окончательного падения она еще не дошла. Сегодня к ней приставал какой-то господин, она ужаснулась и бессознательно набрела на это кладбище.

— Не смущайтесь, — утешал ее отец Виктор. — Вы много страдали, Бог простит, а теперь идите в новую жизнь.

Он благословил девушку.

Больничная палата. Снуют по коридорам санитары, ходят доктора, суетятся сестры милосердия, все встревожены: в городе — холера.

Скоро полночь. В палате осталась только дежурная сестра. Изредка слышится стон больного, и снова тишина.

В углу перед маленьким образом Спасителя теплится лампадка. У столика сидит сестра... Уже третьи сутки она не смыкала глаз, все около больных. И когда ее уговаривали отдохнуть, она повторяла:

— Потом, вот больные поправятся.

А больных с каждым днем становилось все больше и больше. Она совсем выбилась из сил, склонила голову и дремлет.

На столике лежит раскрытое Евангелие. Свет лампадки освещает край страницы со словами:

По слову Твоему!

Дальше не разобрать. Тихо-тихо в палате. Чутко дремлет сестра. Это та девушка, что встретила на кладбище с отцом Виктором.

Человеческое, ласковое отношение сделало то, что из «бывшей женщины» получилась «сестра», беззаветно отдающая себя на служение людям.

Колеблется свет лампадки и озаряет уставшее лицо самоотверженной труженицы.

Доброе дело

По затерянному в степном просторе селу Пылаеву тянулась похоронная процессия: хоронили полунищую вдову, оставившую после себя трех несчастных сирот.

За гробом шли поселяне. Сплошь старые и бедные, из богатых был только Терентий Значков, когда-то друживший с мужем покойницы Анфисы. Всем было жаль ее, горемычную. Никогда Анфиса не видела счастья и радости в своей жизни. Сначала ее угнетали отец с матерью, потом муж умер, нужда, за ней тяжелая болезнь.

Когда заколотили крышку гроба, опустили его в могилу и стали засыпать землей, серые, сермяжные люди стали тихо плакать; казалось, будто это сама жизнь плачет над одной из своих бедных дочерей, плачет и не хочет утешиться.

Хотели уже расходиться. Но престарелый отец Андрей, поглядев строго на своих прихожан, сказал:

— А сироты как же? Тут у могилы и обсудим: душевнее выйдет.

— Дело такое, так-то оно так, — раздались нерешительные голоса.

— Я бы их взял к себе, — снова сказал отец Андрей, заметив общую нерешительность, — так и думал сначала, да ведь, сами знаете, один-одинешенек я: и за мной-то некому поглядеть, кто же за ними присмотрит? А ведь Петю пора в школу отдавать, да и Машу, а малец Федя — за ним глаз да глаз нужен. Православные, может, кто из вас возьмет их к себе, а другие помогут? Я сам хоть половину за них готов вносить.

Наступило долгое, томительное молчание. Никто не решался брать сирот.

— Православные! — вновь заговорил отец Андрей. — Я готов все вносить, что потратите на сирот, вы их хоть по одному разберите. Хотя и нехорошо сиротам по разным углам расти.

Толпа смягчилась. Послышались глухие, сдержанные голоса:

— Дело известное: сиротская доля. Только и сами не в тепле живем. Дяде Терентию отдать — они с покойным Прокофием дружбу водили. К тому же Терентий Васильевич собственных детей не имеет.

Отец Андрей поднял глаза на Значкова. Тот стоял, густо покраснев, понутив голову.

— Знай, Терентий Васильевич, — сказал батюшка, — доброе дело никогда не забывается Богом, и Он достойно вознаградит тебя за твое милосердие. Немало у тебя и так расходов, только верь, что на лишний роток тебе пошлет Господь и лишний кусок.

Терентий подумал.

— Ладно, — сказал он, — благословите, батюшка, на доброе дело, а вы, детки, ступайте за мной.

Прошло двадцать пять лет.

Пылаево. Ясный летний день. Все поселяне в праздничных одеждах высыпали за околицу

встречать новоназначенного в местную епархию Преосвященного Павла, того самого Петюшку, которого двадцать пять лет назад приютил у себя Терентий Значков.

В числе встречавших был и Терентий, маститый старик. Он стоял в стороне от других, вместе с молодым господином и барышней. Этот господин был местный доктор, родной брат Преосвященного Павла, прежний Федя. А барышня, местная учительница, была их сестра, прежняя Маша.

Сложилось все это постепенно, само собой. Терентий, взявший сирот к себе, привязался к ним так, как только может привязаться к детям человек, у которого их никогда не было. Жена Терентия окружила их материнской заботой и лаской, стараясь смягчить их сиротскую долю.

Когда Петюшка окончил сельскую школу, Терентий хотел приобщить его к торговому делу и со временем сделать помощником в своих делах. Но отец Андрей настоял, чтобы мальчика отдали в духовное училище, а через два года и Машутка была помещена в епархиальное училище.

Выдающиеся успехи Петюшки скоро заставили о нем говорить. До этого не дожил отец Андрей: добрый старик умер год спустя после поступления мальчика в училище. Но зато Терентий и его жена были полны радости, что их воспитанник выйдет когда-нибудь в люди.

Под влиянием успехов старшего мальчика Терентий решил отдать и подросткового Федю в город, только не в духовное училище, а в гимназию, куда больше всего стремился мальчик.

Годы шли, а с ними менялась и жизнь пылаевцев. Умерли многие старики, провожавшие в могилу Анфису, умерла жена Терентия, и только он один остался, как будто затем, чтобы увидеть плоды своего благого дела. И они созрели, эти плоды.

После семинарии Петюшку отправили за казенный счет в Духовную академию, в которой он принял монашество. Теперь он епископ и едет руководить родной епархией.

Машутка по окончании училища решила стать учительницей в родном селе и так и осталась в нем. Федя окончил медицинский факультет университета и также посвятил себя родному краю, он был назначен земским врачом в Пылаево и окрестные села.

Сироты, вскормленные деревней, вернулись в родные места, чтобы послужить народу. Это ощущали все собравшиеся и в особенности сам Терентий. Осанистый, весь в сединах, он то гордо осматривался кругом, то напряженно глядел в даль, где терялась в изгибах лента дороги.

Едет!

Тихо стало в толпе. Приосанился, побледнел Терентий Васильевич. Как только карета остановилась у околицы, он, сняв картуз, степенно подошел под благословение владыки.

Тот благословил, а затем вдруг наклонился и сам поцеловал руку растерявшемуся старику.

Когда пылаевцы стали подходить под благословение владыки, они заметили на его глазах слезы радости и благодарности.

Провидец юродивый

Улицы Вологды запружены народом. Все стараются протиснуться к гробу Николая Матвеевича Рынина, юродивого, в прозорливость которого верили многие. В толпе слышатся крики бесноватых, с пеной у рта катающихся по земле, раздаются рыдания и вопли.

Шли медленно, народ останавливал гроб. Когда подошли к кладбищу, с соборной колокольни уже позвали к вечерне. Вспомнились тогда слова брата юродивого — Ивана, не исполнившего завет покойного — похоронить его в Прилуцком монастыре:

— Пожалуй, к вечерне в монастырь не довезти.

Николай Матвеевич, Божий человек, вышел из купеческого рода, крещен был во Власиевской церкви города Вологды, в приходе которой находился двухэтажный дом его отца.

В молодости он решил жить для Бога.

«Пойди, продай имение твое и раздай нищим», — эти слова Спасителя, запали в сердце Рынина. Он понял, что богатство для него — тяжелое иго: если он останется прежним человеком, перед ним откроется опасный путь, полный соблазнов и искушений. Он роздал имение нищим и сам сделался нищим.

Мир считал его за безумца. Действительно, с мирской точки зрения его поступок был странным, ненормальным, безумным. Николая Матвеевича занимало то, что «едино на потребу». Он отдался молитве. Утром его можно было видеть постоянно за богослужением в храмах города. Ночью, когда все спали, он отдавался беседе с Богом в тиши, в уединении, где никто его не видел.

Один мещанин считал Ивана Матвеевича сумасбродом и даже смеялся над ним. Как-то им пришлось вместе ночевать, когда они гостили в соседнем городе. У мещанина ночью разболелись зубы, да так сильно, что он ни на минуту не мог заснуть. И как ни посмотрит он на постель Рынина, она все пуста.

«Куда он пропал?» — думал больной.

Под утро заметил он Николая Матвеевича стоящим перед иконами и горячо молящимся.

«Значит, он молился всю ночь», — заключил больной, изменив свое прежнее мнение о Рынине, а зубная боль у него прекратилась.

Когда Николай Матвеевич заходил в родительский дом, многие видели, что он в летнее время сядет к открытому окну и, обратившись лицом к храму, поет церковные песнопения, забывая все окружающее.

Любимым его местом для молитвы и уединения был Прилуцкий монастырь, куда он часто ходил и подолгу стоял у раки преподобных Дмитрия и Игнатия, на паперти храма, в тени деревьев. Любовь к обители святого Дмитрия передалась от дяди к племяннице, которая тоже, оставив радости мира, проводила жизнь, как птица небесная.

Николай Матвеевич скитался, подолгу жил в Вологде, Кадникове, Тотьме, где немало было людей, которые его уважали. Он ходил с большим посохом в руке, зимой и летом без шапки, в синем холщовом балахоне. Под ним он носил длинную белую рубаху, на ногах — кожаные опорки.

Раб Божий попадал и в дом умалишенных. Конечно, почтение к нему от этого не уменьшалось, даже наоборот. И туда многие ходили к нему за советом.

Вот что рассказывает известный Вологжанин, архимандрит Николо-Угрешского монастыря Пимен. Решивший принять иночество, он отправился помолиться Киевским святыням, и у

Печерских подвижников попросить благословения на монашество:

«Рынин был из вологодского купечества, лет сорока с лишком, высокий, худощавый, с длинными растрепанными волосами и черной бородой, говорил отрывисто, скороговоркой, густым хриплым басом. Он ходил по комнате и был в веселом расположении духа. Встретив нас с посохом в руке, постукивая им по полу, повторял: «Никола никуда не ходит, Никола никуда не ходит». Впоследствии отец Пимен вспомнил, что действительно вся жизнь его прошла под особым покровительством святителя Николая: он родился в приходе Николы на площади, рос у Николы на Глинках и поступил к Николе на Угрешу. И находился до своей кончины на одном и том же месте. Интересен и другой случай из жизни отца Пимена: Мы были еще детьми — сестры и я, — рассказывал отец архимандрит, — вдруг вбежал в комнату Николай Матвеевич Рынин и громко, каким-то неистовым голосом, начал кричать: «Готовьте на ризы, на рясы, на шапки, на шапки». И что же? Несмотря на крутой характер отца, две дочери, с согласия родителя, ушли в Горицкий Троицкий монастырь, а Петр Дмитриевич, почувствовав стремление к иночеству, получил благословение отца и сделался впоследствии известным архимандритом, которого епископ Леонид Ярославский называл «самородком золота».

Рынина считали провидцем. Часто ходил Николай Матвеевич к одной купчихе. Однажды она сидела у себя и разговаривала с братом-помещиком. Взглянув случайно в окно, она увидела на углу улицы Рынина.

— Вот Николай Матвеевич идет, — сказала она брату.

— Это шатун-то? Он только бродит да народ обманывает, — заметил помещик.

— Николай Матвеевич, зайди к нам, — крикнула она ему в окно.

— Ладно, матушка, зайду, — отвечал он с улицы.

Вскоре Рынин зашел в лакейскую и, к удивлению хозяйки, дальше лакейской не пошел, чего ранее с ним не случалось.

— Николай Матвеевич, проходи в комнату, — любезно приглашала его хозяйка.

А он отвечал:

— Да стоит ли, матушка, в комнату заходить мне, шатуну и обманщику, что бродит и народ обманывает.

При этих словах у брата волосы на голове встали дыбом.

Та же купчиха рассказывает, что однажды Николай Матвеевич застал у нее двоюродную сестру-помещицу. У Рынина в руках была трехкопеечная восковая свечка.

— Возьми свечку, возьми, — подавая ее сестре, говорил он.

— На что мне свечка, Николай Матвеевич? — возразила женщина.

— Возьми, возьми, пригодится, — настаивал он.

Вернувшись домой, сестра узнала, что у нее умерла дочь, и свечка действительно пригодилась к панихиде.

В Вологде разразилась холера. Народ умирал. Однажды, в воскресный день, Николай

Матвеевич вошел в храм Зосимы и Савватия, где молилась губернаторская семья, и встал рядом с губернатором. Юродивый был весь покрыт смолой. Губернатор отодвинулся от него.

— Я боюсь, чтобы не заразился, — сказал Рынин.

Вскоре от холеры умерла сестра губернатора, но сам губернатор остался невредим. Появление в городе холеры Рынин предвещал заранее. Одна мещанка, рассказывала, что придя к ним в дом, он стал настойчиво требовать, чтобы мать ее помазала все углы дегтем.

— Купи дегтя, — говорил он, — здесь помажь и здесь, — указывал палкой на все углы комнаты.

— Да зачем же это, Николай Матвеевич? — недоумевала мать.

— Надо, — твердил он, — купи дегтя, помажь.

Мать, чтившая Рынина, исполнила его приказание, поставила в каждый угол по пузырьку с дегтем. Через неделю в городе уже бушевала холера, многие умирали, но этот дом страшная гостья обошла стороной.

— Моей матери предсказал мое рождение, — рассказывала нам одна благочестивая старушка. — Родители мои жили в Кадникове и занимались торговлей. До меня у них родились три девочки. Матери страшно хотелось иметь сына. Беременная, она шла по вологодской улице, навстречу ей Николай Матвеевич.

— Здравствуй, кукла, говорят, что в каком-то городе купчиха девочку родила.

— Это ты мне, Николай Матвеевич, предсказываешь опять девочку, — опечалилась мать.

Родилась я. Рассказывали, что Рынин был в день моих крестин в нашем доме и после того мать мою звал кумой.

В Кадникове Николая Матвеевича с любовью принимали многие горожане и весьма дорожили его посещениями. Для Божьего человека рады были сделать все.

Однажды мылся он в бане. Мать подумала про себя: дать бы Николаю Матвеевичу белье, но как предложить? Задумалась. Вымылся гость, выбежал из бани нагой, только чресла свои прикрыл старой рубашкой.

— Кума, дай белье-то.

Он узнал мысли хозяйки.

— Дом нашего отца, — рассказывал один горожанин, — находился у Николы на Глинках. Однажды ночью Рынин стучится в окно. — Бы ведь горите, — кричит он своим хриплым голосом. Посмотрели — нет ничего. Успокоились. Телеграфа тогда не было. Потом оказалось, что в тот час, в который стучался Рынин, сгорела наша мельница в Архангельске.

— Рынин имел дар прозорливости, — рассказывала одна интеллигентная женщина. — Моей знакомой старушке он дал несколько кусочков сахара. Она бережно хранила их в сахарнице, где находились у нее деньги. Деньги не переводились, так что она нередко снабжала ими своих родственников. Вдруг сахар растаял, перевелись и деньги.

Одному гимназисту Николай Матвеевич говорил, показывая рукой на небо:

— Высоко поднимешься.

Тот окончил университет, хорошо служил и достиг солидного поста: председателя судебной палаты.

Своему родному брату Ивану Николай Матвеевич предсказал печальную кончину за много лет. Вбегает он в комнату и накидывает на шею брату веревку. Иван Матвеевич покончил жизнь самоубийством, удавившись на чердаке своего дома. Племяннику своему, Николаю Ивановичу, Рынин предвещал жалкую судьбу.

— Убил бы его лучше! — кричал он при виде только что родившегося у Ивана Матвеевича сына.

Все удивились необыкновенной выходке юродивого. Вырос Николай Иванович, женился на дочери богатого человека, взял значительное приданое, но рано овдовел, запил, продал дом и умер, оставив мать влачить печальное существование и скорбеть о своей тяжелой доле.

Рынин был вхож к местному владыке. Является он однажды к Преосвященному Онисифору и говорит:

— У тебя в шкафу восемнадцать подрясников, дай мне один.

— На что же тебе? — поинтересовался владыка.

— Дай, дай.

Владыка распорядился. Получив подрясник, Рынин вышел и во дворе архиерейского дома встретил бедно одетого человека, идущего подавать прошение владыке о месте. Ему и отдал подрясник.

Рынин носил с собой много разных вещей. Одному встречному он даст печенки — к горю, другому уголь — скоро случится смерть любимого человека, кому хлеба — это к счастливой жизни. Бывали у Николая Матвеевича и гостинцы. Это для детей.

Несмотря на строгий вид юродивого, дети всегда бегали вокруг него. Он ласкал их с большой нежностью, и дети чувствовали искреннюю доброту его сердца. Школьники с вниманием относились к действиям доброго человека, видя в них то счастливые, то неприятные для них предзнаменования: ударит легонько школьника по плечу — быть высеченным.

Конечно, неблаговоспитанные дети обижали Николая Матвеевича.

«Летом, — рассказывает купеческая дочь, — один слепой сидел на галерее гостиницы и просил милостыню. Проходит мимо него Рынин. Уличные мальчишки, увидев юродивого, стали бросать в него песок с дороги, пыль попала в глаза слепому и причинила ему боль. Он стал тереть глаза, а Рынин говорит ему: „Три, три“, — и слепой прозрел».

Сначала могила Николая Матвеевича отличалась от других разве тем, что была сильно изрыта почитателями юродивого. Даже крест на ней покосился. Потом одна купеческая вдова устроила над ней крышу на деревянных столбах и высокие перила. А другая почитательница покойного построила дощатую часовенку, покрытую железом, с небольшой главкой из белого железа и железным крестом. В часовне четыре окна, вход в нее с западной стороны. Могила укрыта парчой и стоит на ней деревянный крест.

Спустя годы кто-то покрасил часовню голубой масляной краской, на восточной стороне устроили деревянный иконостас с тремя образами с золоченой резьбой: посередине — Воскресения Христова, направо — Успения Божией Матери, налево — святителя Николая. На стене висит портрет Николая Матвеевича: худое, с заостренным носом, подвижническое лицо с темными задумчивыми глазами.

Христианская месть врагу

В казачьей станице торговал приезжий купец, который уже несколько лет снимал лавку и жилье у одного друга-казака. Ни хозяин у постояльца, ни постоялец у хозяина никогда не утаивали ни одного лакомого куска. Всем делились и были счастливы в своей мирской благодати. Купец крестил у казака детей, а казак крестным отцом своим детям сделал купца и всегда был с кумом в таком ладу, что родные братья завидовали их дружбе.

Купец ежегодно отправлялся в Москву за товаром и для расчетов по торговым займам.

Однажды он собрался по обыкновению ехать в Первопрестольную, собрал деньги и вечером, накануне отъезда, пересчитал их вместе с казаком.

Пришла в голову казака недобрая мысль воспользоваться деньгами купца. Совесть его корит, а злой дух нашептывает:

— Чего ты боишься? Денег много, заживешь богато, сбуди только кума с рук, а после, с деньгами, много найдешь новых друзей и кумовьев.

Всю ночь казак не спал и разбудил купца в после полуночи.

— Вставай, кум. Пока, на зорьке, отъедешь десяток-другой верст, я тебя провожу, и распростимся, а в полдень от жары отдохнешь.

Купец, конечно, не подозревал друга, он полагал, что тот по-приятельски хочет его проводить.

Кумовья собрались, сели в повозку и покатали по дороге. В станице все еще спали.

Надо было проехать степью верст двадцать. Проехав половину пути, казак сказал купцу:

— Любезный кум. Ты меня прости за недобрые мысли. Не мне бы тебе о них говорить и не тебе бы слышать. Враг человеческий не дает мне покоя, твердит, чтобы я отнял твои деньги, а самого тебя убил.

— Что ты, кум! Что с тобой? — отвечал купец. — Стращать, что ли, меня вздумал или просто из ума выводишь? Да вот так я тебе и поверил! Нет, друг, кажется, мы не первый год с тобою знакомы; видал ты у меня денег и побольше теперешнего.

— Хочешь, верь, хочешь, не верь, — продолжал казак, — только я говорю правду. Я и сам не рад злой мысли, да что делать! Видно, тебе на роду написано погибнуть от друга!

Гримаса на лице и слова казака уверили купца в истине.

— Ну, кум, прости меня Бог. Знать, Господь помянул мои грехи. Будь со мною святая Его воля. Не так жалко расстаться с белым светом, как жалко погибели души твоей, — сказал купец, обливаясь слезами.

Казак начинал уже раскаиваться, но дьявольская мысль его не оставляла: он взял кистень и, показав купцу, продолжал:

— Прощай, кум. Чему быть, того не миновать. Молись Богу в последний раз.

— Послушай, кум, — начал опять купец. — Не губи моей и своей души: возьми мои деньги и отпусти меня живого. Бог и все святые будут тебе за меня порукой, что во всю жизнь не скажу об этом никому ни слова.

— Нельзя, друг! — отвечал казак. — Теперь ты клянешься, когда видишь смерть над головой, а после и божба будет не в божбу, тогда пропала моя голова: начнут таскать по судам, не рад будешь и деньгам твоим: все перейдут в карман судей и подьячих.

— Но если уж ты решился убить меня, то оставь, по крайней мере, меня на волю судьбы. Здесь, видишь, степь, дорога глухая: завези меня подальше, в сторону от дороги, свяжи по рукам и ногам, все равно не выживу, помощи ждать неоткуда. По крайней мере, день-другой я побуду жив, расскаюсь Богу в грехах с чистым покаянием.

— Правда твоя, кум, что в степи помощи ждать неоткуда; но кто знает, каким-нибудь нечаянным случаем ты останешься жив, тогда что будет со мною?

— Это невозможно; но если бы и случилось, то клянусь тебе Пресвятой Троицей, Небесной Царицей и всеми святыми, что всю жизнь никому, даже родному отцу, не скажу о происшедшем, ни единого слова никто не услышит, и если нарушу клятву, то пусть я буду лишен милости Божьей, пусть не увижу никого из родных и друзей, пусть земля не примет моего тела и да буду я проклят отныне и во веки веков!

Такие страшные клятвы подействовали на казака, не привыкшего еще к злодейству, и он завез кума далеко в степь и оставил связанного в повозке; а сам, взяв деньги, возвратился в станицу.

Оставшись один в глухой степи, купец горько заплакал, припоминал свои грехи и просил Бога о помиловании, о скорой смерти. Он не роптал на несчастье, но, предавшись воле Господней, признавал себя достойным наказания.

Так прошло три дня. Бедный купец был недалеко от смерти; но Бог услышал молитву смиренного, помянул милостыни его, нищим и бедным поданные, и послал нечаянную помощь. Какой-то проезжий ночью сбился с дороги и нашел почти умирающего купца, развязал его, накормил и спас от смерти.

На расспросы избавителя купец рассказал, что дорогой напали на него неизвестные недобрые люди, отобрали деньги, а самого оставили связанного.

Путешественники нашли дорогу. В первом городе купец, отблагодарив избавителя, простился с ним, а сам нанял ямщика и отправился в Москву.

Там он должен был заплатить долги. Ему стоило только объявить о своем несчастье, и все было бы возвращено, а злодей его был бы отмщен. Но добрый купец держал данное слово и сам бы остался в долгу, чем нарушил страшные клятвы.

Собрав всех, кому был должен, купец сказал им:

— Вы знаете, господа, что я несколько лет брал у вас товар и всегда исправно платил долги. Сейчас наличных денег у меня нет, есть в векселях, но по ним деньги не собраны. Если вы

будете настолько снисходительны, что дадите мне способ оправдаться перед вами и остаться честным человеком, то отпустите еще в кредит товаров, и я по-прежнему буду верным плательщиком, с новым долгом уплачу и старый. А впрочем, ваша воля, делайте со мной, что угодно: уверяю только, что я не бесчестен против вас.

Кредиторы подумали, посоветовались между собой и, рассрочив должнику платежи на несколько лет, доверили ему вновь товар на значительную сумму.

Купец не только не помянул про злобу казака — нет, он еще подумал: «Кум мой добрый человек, и если хотел лишить меня жизни, то это по дьявольскому наущению. Наверное, он давно раскаялся и теперь клянет себя за мою смерть. Поеду и успокою его, а о прошедшем и поминать не буду. Кто Богу не грешен, кто царю не виноват?»

Много ли найдется людей с такими правилами? Одни только истинные исполнители заповедей Спасителя и наследники Небесного Царствия могут так поступать, как поступил добрый купец.

Набрав подарков, купец отправился в станицу.

В самом деле, прошло искушение, и казак осознал свой грех, рассказал жене, и оба они мучились совестью. Не милы стали и деньги, добытые погибелью друга; им казалось, что скоро преступление откроется и казнь постигнет виновных. Они представляли себе кума, умирающего в степи от голода и хищных зверей, и сердца их обливались кровью.

Каково же было удивление, когда приехал купец. Казак с женой не верили глазам, думали мстить будет. Но добрый купец по старой дружбе обнял казака, расцеловал крестников, одарил всех гостинцами, расспросил о том, о сем, а о страшном происшедшем ни слова, будто никогда ничего не было.

Казак не ожидал от купца, что тот так быстро забудет обиду. Не вытерпев душевных страданий, казак с женой бросились в ноги к куму.

— Прости нас, любезный кум, за смертельную вражду; мы кругом перед тобой виноваты и не смеем оправдываться.

— В чем мне прощать вас? — отвечал купец. Я не помню никакой обиды, а помню только ваши ласки и прежнюю нашу дружбу.

— Как! Добрый человек, — продолжал рыдавший казак. — Разве ты не считаешь за обиду то, что я хотел лишить тебя жизни, ограбил и бесчеловечно оставил в глухой степи в пищу зверям и птицам, и только Господь один мог спасти тебя, умиловшись на мое горькое раскаяние? Вот твои деньги: они все целы, возьми их. Много горя они принесли с собой.

— Послушай же, — сказал купец. — Никогда не хотел я вспоминать несчастный случай. Я был уверен, что или Бог испытывал меня за мои грехи, или враг-дьявол позавидовал моей с тобой дружбе. Я дал тебе слово молчать, и верно держу клятву, но если ты сам начал, то да простит вас Бог, так же и я прощаю. Только прошу, чтобы впредь об этом не было ни слова. Кто старое помянет, тому глаз вон. — После этих слов они обнялись и остались навсегда друзьями.

Купец исполнил христианскую заповедь о прощении врагам. Наживая честными оборотами хороший капитал и не имея детей, он половину своего имущества и денег оставил после смерти крестникам, детям казака. Вот как отомстил он врагу.

Добрый человек был верен слову и всю жизнь никому не говорил о происшедшем случае, и эта

история навсегда осталась тайной. Ни я, ни вы, читатель, не узнали бы о ней, если бы казак на старости не рассказал ее детям и внукам как редкий пример христианского мщения.

Пример добродетельного терпения

Рассказ сельского священника

В моем приходе есть семейство Федора и Прокофия Степановых. Первый женат, родил четырех детей, второй — холост. Давно я знал Прокофия, мне случалось причащать его во время болезни. Моя духовная связь с ним еще более укрепилась со времени моего перевода в этот приход.

И вот что он мне рассказывал:

«Было мне 21 год, когда выпал мне жребий, идти в солдаты. Три раза приводили меня в присутствие и каждый раз отпускали. И я радовался своему счастью, родные утешались, соседи завидовали. Всем я был наделен от Господа: и ростом, и дородством, красотой и ловкостью, трезвостью и грамотностью. Словом, парень хоть куда. Но вот Господь не обошел меня бедой. Заболели ноги, и я слег. Ничего не помогло. Лежу в углу уже одиннадцать лет. Злые языки говорили, что я испортил себя сам, чтобы освободиться от солдатчины. Народная молва приписала болезнь к каре Божьей за то, что в солдаты не ушел. Но верь мне, батюшка, не портил я себя. Господь наказал».

Приятный взгляд этого больного заинтересовал меня, и я решился расспросить его о жизни.

— Что же ты поделяешься теперь, лежа, и какой уход за тобой? — спросил я.

— Ничего, батюшка, я не делаю, да и как я могу работать? Ведь ноги у меня, как плети, и я не могу ни встать, ни лечь, а руки мои хотя и здоровы, так что мне в них? Лежа не могу работать.

— Как же ты время коротаешь? — спрашиваю я его.

— Что могу, то делаю. Языком я или молитвы творю, глазами книги читаю, а руками крещусь. Спасибо Авдотье-невестушке, а то бы, пожалуй, черви съели меня. Она и одевает, она и кормит, и обмывает.

Дай ей Бог добра-здоровья. Сколько грязи соберет с меня. Одно беспокойство и бессонные ночи. Ангел, а не человек.

Я спросил, скучает ли он, беспокоится ли, не ропщет ли на свое положение.

На все это он ответил:

— Что же — Богу так надо, можно ли роптать и гневить тем Бога?

Впоследствии я убедился, что он не рисуется, говорит правду. Такую веру в Бога, такую покорность и преданность воле Божьей, редко встретишь.

Бывало, подходишь к его комнате и слышишь — читает нараспев Отче наш, Богородицу и Царю Небесный или поет что-нибудь из священных песней. Его простая и безыскусная, но полная усердия и любви молитва и сейчас хранится в моей памяти.

В сенокос был я в деревне, где лежал этот больной, и решил навестить его, а он тогда лежал в

конюшне, в пологе скрываясь от назойливости надоедливых комаров и мух. Подхожу и слышу — молится:

«Упокой, Господи, батюшку Степана, матушку Гатиану, дедушку... такого-то, бабушку... такую-то, батюшку крестного... такого-то», — поименно поминает он всех родственников. Потом слышу: начал поминать поименно всех умерших соседей. Слышу, и за живых. Прежде всего за братца Федора и невестушку Авдотью с детьми.

Дай им, Господи, доброго здоровья, что не обижают меня и ходят за мной. Награди их, Господи, и их детушек здоровьем и счастьем».

Молится за другого брата и за его семейство и за всех соседей. И всех вспоминает. Не забыл и отцов духовных.

Эта молитва глубоко тронула меня. Но я считал неудобным нарушить его молитвенный подвиг. И вошел, когда он умолк.

Никогда не слышал я, чтобы этот больной роптал на свое положение. Только однажды сказал мне:

— Вот, батюшка ты мой, я видеть-то стал как-то плохо, что-то глаза попортились, да и в голове-то моей что-то помутилось.

Но и это все было сказано с кротостью и покорностью судьбе, с преданностью Промыслу Божию. Никакого оттенка сердечной горечи не было слышно в его словах. Зато и Господь не забыл его. Пятнадцать лет пролежал этот страдалец, и у него не было ни одного пролежня на теле. Видимо, Господь хранил его.

Дай Бог каждому, как Господь сподобил раба Божия Прокофия закончить свое земное странствие. В день его кончины невестка сразу же пригласила меня его причастить.

Прихожу... Больной осунулся. Желтый цвет лица, мутный взгляд, хриплый голос, — все мне говорило, что настал конец его земных страданий. Но и на этот раз душевно он был здоров. Раскаялся в своих грехах совершенно искренно и чистосердечно. Только жаловался на то, что ему стало холодно. Я простился с ним, благословил его, как отходящего в вечность. И мои мысли подтвердились. Через три часа после моего отъезда его не стало. Он умер, как будто заснул.

Последними его словами в земной жизни были слова любви и примирения с ближними. На слова невестки:

— Прости меня, Прокофьюшка.

Он ответил:

— Я давно тебя простил.

Помолчав, он прибавил:

— Прости меня, Авдотьюшка.

Затем повернулся на левый бок, руку положил под щеку и в таком положении скончался. Мир праху твоему, великий страдалец, учитель терпения, покорности и преданности воле Божьей.

Петрович

Сорок лет прожил восьмидесятилетний сгорбленный старичок Петрович в глухой слободе Погореловке. Знали его все от мала до велика, знали и люди из соседних селений и хуторов.

Как он жил в молодости? Степенный землекоп, вырастил дочь и двух сыновей, но семейного счастья не было. В тридцать Бог «прибрал» жену Петровича, а за ней и дочку. Сыновья, злоупотребив любовью отца, запутались на заводах и шахтах, бросили отца, и о них не было ни слуху ни духу. Ни один из них не приезжал в родное село, ни один не прислал старику-отцу медного гроша. Примирился Петрович со своим тяжким горем, со своим бесталанным одиночеством. Никто не слышал от него ропота.

— Что же, на все Его святая воля, — говорил он, когда случайно заходила речь об его одиночестве.

Продав Петрович свою просторную усадьбу, продав рубленую хату, сбыл скотину и, оставив себе не более десяти-пятнадцати сажень, построил маленькую землянку и поселился в ней.

Вырученную от продаж сумму он отдал на хранение в церковь, с условием выдавать ему ежегодно по десять рублей на покупку церковных свеч, завещая остаток тем добрым людям, кто будет его хоронить.

Ничего мирского не осталось: ни семьи, ни имущества. Никем и ничем не связанный, в течение сорока лет Петрович не пропустил ни одной службы Божьей. За сорок лет никто и никогда не видел его злым или раздраженным, никто не слышал от него праздного слова. Труд, молитва, добро, привлекали к нему сердца.

У него не было врагов, все были братья.

Он работал на своих односельчан и ничего не просил за труд. Если обсчитывали старика недобрые люди, то это бывало редко. Совесть в селе все-таки еще жива, и труд не оставался без награды, тем более, что некорыстолюбивый старец и не гонялся за барышом.

Каждый праздник, каждое воскресенье Петрович находил возможность из своих скудных средств давать что-нибудь нищей братии, ставил свечи, подавал на проскомидию.

Петрович был человек бывалый: видел Киев с его святынями, видел Соловки, побывал в святом граде Иерусалиме.

Редко-редко проходили без Петровича похороны или поминки, без него не служились молебствия по хатам: везде он был желанным, почетным гостем. Только свадеб недолюбливал старик: очень уж смущало его широкое русское веселье.

Все любили старика, от мала до велика. Одни за простые, душевные рассказы о святых местах, другие искали в его любвеобильном сердце утешение, третьим была по душе его святая жизнь. Все считали за честь видеть Петровича за своей скромной трапезой. Непьющий, богобоязненный Петрович отличался необыкновенной скромностью, и никто не видел его стоящим в церкви впереди других.

Проходили годы. Петрович болел без видимой причины: догорала, как перед иконой свеча, его праведная, святая жизнь. Редко выходил уже немощный старец: сил не было. Но он не забыт: гостями его было все село. Сама собой, без всякого предварительного уговора, установилась очередь: сегодня кормила и ухаживала за Петровичем хозяйка с одного двора, завтра с другого

— и так далее.

Под праздник около землянки Петровича всегда было чистенько.

Раньше всех под Троицу у Петровича была украшена землянка зеленью. И никто не считал это за подвиг, никто не кичился: все знали, все чувствовали, что так надо.

Сбылось и последнее, главное желание Петровича: умер он в первый день Святой Пасхи, и не скорбные, погребальные, а радостные пасхальные песнопения звучали над его последним жилищем.

Все село присутствовало на похоронах праведного старца. Хоронили его с таким торжеством, как никого из богачей. Каждый счел бы кровной для себя обидой, если бы от него не приняли лепту на погребение Петровича. Не было в селе поминания, где бы не был записан новопреставленный. Могилка его обложена зеленым дерном, и весной, летом и до поздней осени не останется одинокой: любящая, хотя и чужая, рука непрестанно заботится о могилке, куда все знавшие доброго старца или слышавшие о нем несут и поныне свои слезы, свои горести.

В дни Пасхи могилка Петровича, пожалуй, краше всех: зелень, свежий песок, у креста красные яйца. Кто окружил столь бескорыстной, чистой любовью этот холмик безродного старца? Все!

Тихо, мирно и безболезненно почил этот всеми любимый и почитаемый девяностолетний старец, этот истинный христианин, и долго его имя будет повторяться всеми, пока не сплетется наконец с какой-нибудь народной легендой или с Божественным стихом калики переходного.

Мир праху твоему, смиренный пахарь!

Прибыль — не счастье

На набережной кипела работа, разгружали барки с дровами и строевым лесом. По мосткам сновали рабочие, сгибаясь под тяжестью ноши. На берегу торговались владельцы грузов и покупатели. В конце вереницы неразгруженных барок стояла довольно подержанная, нагруженная лесом барка, сорокалетний владелец которой, вел переговоры с торговцем, не уступавшим ни копейки. Наконец сделка состоялась, и они рассчитались.

На портовой улице собралась толпа народа. Кириллов, так звали владельца барки, решил узнать, в чем дело, и стал протискиваться вперед. И увидел худого и оборванного пятилетнего мальчика.

Захлебываясь от слез, он никак не мог ясно ответить на град вопросов со всех сторон. На расспросы Кириллова кто-то рассказал, что мать мальчика бросила его на пристани, приказав сидеть смирно, а сама уехала на одном из пароходов с девочкой. Мальчик не знал ни имени, ни фамилии матери, знал только, что его зовут Петей и что он хочет есть. Так отвечал он и городскому, намеревавшемуся отвести его в участок.

— Погодите его отводить, — сказал Кириллов, — я, может быть, его возьму.

Никто и не думал оспаривать мальчика. Только городской, которому толпа и происшествие успели уже порядочно надоесть, видя раздумье и нерешительность Кириллова, обратился к нему с вопросом:

— Берете вы его или нет?

— Беру, если сказал, — ответил тот.

В толпе слышались похвалы, и одна женщина заметила:

— Верно, своих детей нет, если берет чужого.

— Как нет. Есть двое, и третьего ожидаем.

Женщина отошла, пожав плечами.

Чтобы попасть на свою барку, Кириллову нужно было сделать большой крюк. По дороге он раздумывал о своем поступке, который теперь казался ему безрассудным. Бедный ребенок совсем не мог идти, и его пришлось нести на руках.

«Как теперь явиться домой с такой прибылью? — думал Кириллов. — Пожалуй, жена прогонит вон вместе с мальчиком».

Но потом Кириллов стал успокаивать себя, мол, мальчика можно будет завтра же отвести в участок.

— Пусть, по крайней мере, — думал он, — бедняжка поест сегодня хорошо и переночует в теплом месте.

Вот уже замелькал огонек на его барке и слышался голос жены, кричавшей:

— Перестань, Люба.

Кириллов вошел; жена стояла спиной к дочери у печки, мешая в котелке варево и, не оборачиваясь, узнав его по походке, сказала:

— Что ты так поздно вернулся?

В это время Петя, попавший после вечерней сырости и холода в теплую комнату, с приятным запахом, сказал:

— Как тут тепло, и хорошо пахнет.

Жена обернулась, недовольная, и, указывая мужу на оборванного мальчика, спросила:

— А это что такое?

Муж предпочел бы быть сейчас далеко отсюда, но жена ждала ответа, и он, путаясь и запинаясь, все рассказал.

— Ты, верно, сошел с ума, верно, хочешь, чтобы мы сами умерли с голоду, если подбираешь на улице брошенных детей. Ведь ты знаешь, как ветха барка? А что будет с нами, когда она совсем развалится? Отведи мальчика немедленно в полицию, слышишь?

— Хорошо, хорошо, не сердись только. Я думал, что поступил хорошо, взяв мальчика; я отведу его хоть сейчас.

— Ну, теперь уже поздно, а завтра его надо отвести. Садитесь ужинать.

Сели. Бедный оборвыш ел с жадностью, набивая полный рот. Марфа — так звали жену Кириллова — сердито наполняла миску Пети, хотя в душе у нее шевелилась жалость к мальчику, и она с ужасом думала: что, если бы один из ее детей был в таком положении? Необходимо было обмыть этого замарашку, чтобы положить спать со своими детьми. И вот она принялась его мыть. Надела на него старую рубашку и, всмотревшись, заметила, что мальчик очень хорошенький.

На другой день началась разгрузка барки. Кириллов суетился и хлопотал, и жене его было немало работы — считать доски и так далее. Она была рада, что оставила Петю в каюте присматривать за детьми, а за обедом решили оставить его, пока будет продолжаться разгрузка или даже до отъезда барки на зимовку.

Прошло несколько дней, и пора было уже уезжать. Кириллов ходил задумчивый и ни разу не зашел в трактир, несмотря на приглашение знакомых. Жена была очень удивлена таким небывалым поведением мужа. Его беспокоила мысль: что будет дальше с мальчиком? Сам он не решался заговорить первым об этом с женой. Наконец она сказала, что следует отвести мальчика. Петя поняв, что его хотят прогнать, ухватился обеими руками за платье Марфы и со слезами упрашивал не отдавать его городовому. Люба, старшая дочь Кириллова, принялась кричать и плакать. Марфе самой стало жаль мальчика, он заменил ей няньку: двухлетнего носил на руках, а Любу забавлял, так что матери оставалось больше свободного времени для хозяйства и шитья.

«Пожалуй, — решила она, — пусть Петя остается; но только муж должен ей обещать не пить, а Люба — не шалить, в противном случае она сама отведет мальчика в полицию».

На другой день они отплыли вверх по течению реки на родину, где зимовала барка. У них была своя изба со двором и хозяйством, с десятиной огорода под картофель. За деревней тянулись бесконечные леса. Невдалеке, на опушке леса, стоял домик полесовщика. Он жил очень уединенно, занимался своим делом и сторонился всех. Это был высокий, худой человек с суровым лицом, но еще не старый. Кириллову часто приходилось иметь дело с полесовщиком при аренде и порубках леса, и тот очень удивился, зачем Кирилловы, имея своих детей, взяли еще чужого мальчика.

Прошло несколько лет. Петя и Люба окончили сельскую школу, в которой учились только зимой. Учитель и батюшка очень любили обоих детей. Многие из односельчан не одобряли необдуманного поступка Кирилловых, взявших чужого мальчика, ведь сами едва кормились. Но батюшка всегда хвалил их и говорил, что Бог вознаградит их за доброе дело.

Однажды Кириллов зашел по делу к полесовщику и остался у него пить чай. За чаем разговорились, и Белкин — так звали полесовщика — сказал:

— Меня считают нелюдимым и даже злым человеком, но я вовсе не злой, а несчастный. Когда-то я жил, как другие люди, имел достаток, добрую, любящую жену и сына, но всего этого я лишился по своей вине. Больше всего на свете я любил деньги и для прибыли денежной готов был жертвовать всем. Когда у нас родился сын, я стал требовать, чтобы жена поступила в город в кормилицы; она долго не соглашалась, но я заставил ее согласиться и нашел ей выгодное место. Ребенка отдали за дешевую плату к одной женщине на воспитание. Женщина эта ходила просить милостыню и, попавшись на краже, скрылась неизвестно куда, захватив вместе со своей девочкой и нашего малютку. Я разыскивал ее, расспрашивал о ней, но все напрасно. Жена, узнав об этом, от огорчения заболела и вскоре умерла. Я продал все, уехал далеко от родины, нанял это место и живу теперь нелюдем. Одиночество с каждым годом тяготит меня, и вот я хотел сказать вам: не отдадите ли вы мне Петю? Он мне очень нравится,

такой смысленный мальчик. Я взял бы его вместо сына. Боюсь только, что ты, пожалуй, не согласишься?

— Это правда: я и жена очень привязались к мальчику и не думаем его отдавать. Ему уже пятнадцать лет, и он заменяет мне рулевого, матроса — кого угодно. Прошлым летом благодаря его ловкости мы спасли от гибели нашу барку, когда ее унесло под мост.

На этом собеседники расстались.

Весной Кириллов прибыл в город по делу, и на этот раз в одиночку. Забрали его в полицию и спросили: не у него ли мальчик Петя? При этом показали ему заявление одной умирающей женщины о том, чей был сын Петя. Оказалось, отцом его был Белкин, теперешний полесовщик. Это так поразило Кириллова, что, вернувшись на барку, он долго не мог прийти в себя и не говорил об этом никому ни слова.

Приехав в деревню, он прежде всего рассказал обо всем случившемся священнику и попросил у него совета. Тот велел ему немедленно идти к полесовщику и открыть ему все. Нельзя описать радости и счастья полесовщика, когда он убедился, что Петя действительно его сын. Он взял его к себе в дом и не мог вдоволь наглядеться на него, не хотел отпускать ни на шаг. Но со временем стал он замечать, что Петя как бы скучает по семье, вырастившей его.

Однажды Петя сильно заболел, потребовался женский уход. Кириллова усердно посещала дом Белкина и ухаживала за больным, пока он не поправился.

Белкин стал задумываться, и сердце подсказало ему выход. Он решился, в благодарность Кирилловым за воспитание сына, купить им новую барку вместо старой. Вскоре по просьбе сына он купил и себе большую барку, на которой сплавлял вместе с Кирилловым лесной материал. Со временем Петя женился на Любе.

Две семьи породнились и вели промысел сообща. Прибыли их росли и росли. Но не этим прибылям радовался теперь Белкин; радовался он доброй и счастливой жизни детей и часто повторял: «Не в прибыли счастье».

Кто Бога забывает, того и Бог не милует

Рассказ священника М. Островитянова

Была среда, пост. Утомленный великопостной службой и непрерывными поездками в приход к больным, я только к вечеру собрался выпить стакан чая. Слышу, кто-то из прихожан требует меня. Недовольство от усталости сорвалось с моих уст, а впрочем, кто знает, подумал я, не с Причастием ли ехать к человеку.

— Скажите, — говорю, — чтобы подождал немного, а я сейчас же напьюсь чаю и выйду.

— Проситель какой-то странный, — сказали мне. — Ничего не говорит, только плачет.

— Что бы это значило?

Выхожу — и не узнаю моего прихожанина, крестьянина Сергея Полникова.

— Здравствуй, Сергей. Что с тобой? На тебе лица нет. Беда стряслась?

— Да, батюшка, несчастье, — произнес Сергей.

— Что такое?

— Ох, Господи! Что мне делать?

Долго мне пришлось успокаивать его, прежде чем я добился разъяснений. Оказалось, отца Сергия разбил паралич, и врач отказался лечить больного.

Я поспешил к нему для напутствования Святыми Таинствами. Подъехали к дому. Слышны причитания и неопределенный шум.

— Все кончено! — думаю. — Опоздал. Очень жаль.

Вхожу в избу. Хата битком. Вслушиваюсь. Под общий плач спорят, чем бы помочь больному.

— Слава Богу. Жив, значит, — вырвалось у меня.

— Батюшка. Добро пожаловать, — приветствовали меня соседи. — А мы вот собрались навестить больного.

— Добро. Посетить больного — христианская обязанность. В памяти ли Илья?

— Бог весть, — отвечали мне. — Чуть жив, язык отнялся.

— Неужели? Давно ли?

Я подробнее узнал о болезни отца Сергия. С вечера, под Чистый Вторник, Илья почувствовал слабость. Перекусив на семейном ужине, он лег в постель и до вторника не вставал. Паралич сковал Илью.

Думая, что у Ильи припадок, семейные пригласили деревенских бабок, которые, разумеется, не принесли никакой пользы. Тогда больного отправили в Вельможино, в частную больницу. Врач, осмотрев больного, отправил его обратно, сказав, что для таких больных у него не имеется лекарств. Илью повезли в городскую больницу, где без всяких уже экивоков посоветовали родственникам колотить гроб для больного.

И вот несчастный Сергей, расстроенный решительным отказом врачей, убитый горем, почти в беспамятстве приезжает ко мне с просьбой и приводит меня в дом свой.

— Не оставь хоть ты нас, родной, — молили в свою очередь меня семейные. — Помоги беде нашей.

Понятно было, что помощи оказать никакой я не могу, тем не менее попросил показать мне больного. Посетители расступились. Подхожу:

лицо его исказилось и стало темно-багровым, парализованные руки и ноги замерзли, как у трупа, дыхание редкое и прерывистое, а пульс редкий. Видно, что несчастный переживал последние минуты страшной болезни. Еще немного — и кончено.

Я отошел от ложа молча, все смотрели на меня, что я скажу. Но что я мог сказать? Повторить за врачом? Окончательно добить и без того убитых горем. Подать надежду, вопреки роковой правде. Пришлось лгать:

— Изменить приговор врачей никто не может, кроме Бога, и помочь больному я не в силах. Единственное, что я хочу сделать в облегчение вашей скорби, — это напутствовать больного и

приобщить его Святых Тайн Тела и Крови Христовой. Пути Промысла Господня неисповедимы. И кто знает? Для Бога все возможно. Другое дело, и умирать не миновать; будет ли это рано или поздно, — исход один. А поэтому, вместо бесполезных воплей и рыданий, молитесь лучше Богу и усерднее просите Его, Милосердного, за нашего больного, чтобы Он удостоил его, по крайней мере, истинно христианской кончины, разрешил говорить.

— Правда, батюшка. Спасение души дороже всего, — сказал Сергей. — И если болезнь моего отца настолько трудна, что помочь никак нельзя, то отслужи завтра молебен о здравии, не пошлет ли Бог речь больному, хоть бы причастить его.

Сказанное Сергеем настолько было резонно и произнесено так отчетливо и притом спокойно, что я подивился совершившейся в нем перемене; это, однако, длилось не очень долго. Горький плач семейных и видимо порывающиеся узы близкого дорогого родства побороли минутную стойкость духа и твердость здравого суждения. Чувства сказались и под напором душевных волнений разразились обильным потоком слез и воплей сетования. Успокоив, насколько это было можно, плачущих, я обещал им завтра молебен о недужном. На том и расстался я со скорбящим семейством и довольно уже поздно вернулся в свой дом.

Наступил следующий день. К удивлению, Илья был еще жив, но состояние его здоровья не изменилось. Я с причтом прибыл в дом больного, захватив из церкви икону Скорбящей Божией Матери.

Кроме семейных и родных, участвовать в молебне пожелали соседи и знакомые больного.

— Молись и ты, несчастный страдалец, — обратился я к больному. — Молись мысленно. — Мне хотелось хоть как-то убедиться в том, что больной в сознании, и вызвать его к деятельному участию во внутренней молитве. Я не ошибся. Что-то заискрилось в его неподвижном взоре. Блеснула слеза, за ней другая, третья, и целый град их потоком полился из глаз и оросил изможденное лицо страдальца.

— Добрый признак. Господи, благослови! — воскликнул я и осенил себя крестным знамением.

Перекрестились и все.

— Благословен Бог наш, — начал я.

Последовало Молебное пение, которое сегодня отличалось особенной выразительностью. Отпели уже большую часть. Прочитано было Евангелие, прикладывая которое к устам больного, я заметил, что с ним делается что-то необыкновенное: цвет лица стал нормальным, конвульсии стихли, сердцебиение усилилось, дыхание стало глубоким, — кровообращение, видимо, восстанавливалось. Все это произошло очень быстро.

Я как-то невольно, но и совершенно сознательно, громко воскликнул:

— Веруем, Господи! Помоги!

Кончался молебен. Еще раз преклонили колени при чтении заключительной молитвы о больном. Осеняя крестом больного, я приветствовал его выражением благопожелания. И вдруг — о, дивное чудо! Уста больного раскрылись и произнесли слова благодарности Богу:

— Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Отец Небесный! — внятно сказал он, и осенил себя крестным знамением.

Трепет объял всех. Прошло несколько минут. Народ заволновался и сомкнулся вокруг постели больного. Всем хотелось поближе видеть ожившего, слышать его слова и убедиться в исцелении.

Илья, хотя и слабым голосом, начал беседовать с окружающими, — и затем, движимый чувством благодарности к Богу, дал обет пожертвовать посильную лепту на украшение храма, помочь одному очень бедному семейству материальным приношением и отправиться в Киев на поклонение святым мощам.

Что-то еще сказав, больной устал. Народ стал расходиться: отбыл со своим причтом и я, занятый размышлением о знаменательной повести Ильи и его чудесного исцеления.

Проходит три дня.

Я заехал в приход, где живет Полников Илья. Захожу к нему в дом и застаю Илью за работой у столярного верстака.

— Здорово, Илья. Ты ли это, воскресший из мертвых?

— А кто ж? Известно, я, — с улыбкой отвечал мне Полников. — Другого Ильи у нас в семействе нет. — И, приняв благословение, Илья порадовал меня, что он теперь совершенно здоров. И, действительно, свежесть его лица, бодрость и светлая улыбка, подтверждали его слова.

— Ну, и слава Богу, — говорю, — поблагодари теперь Господа за оказанную Им милость: в следующий субботний или воскресный день возьми да и отслужи благодарственный Богу молебен; да не забудь исполнить свои обещания.

— Забыть? Как это можно? Кто Бога забывает, того и Бог не милует, — сказал Илья.

— Ладно, коли знаешь. После этого мне одно только и остается напомнить тебе: не исполняющий должного заведомо отвечает перед Богом больше, чем не исполняющий по неведению.

Расстался я с Ильей и с тех пор долго не видался с ним.

А Полников забыл и про свои обеты, и про молебен.

Наступает Пасха. Встретил я Илью, напоминаю ему о его нравственном долге, но так как времени для объяснений было мало, не добился от Полникова никакого определенного ответа. Месяца два или три спустя снова вижусь с Полниковым и опять спрашиваю:

— Послушай, — говорю, — Илья. Прошло много времени, и ты не только не исполнил своих обетов, но не озаботился даже отслужить благодарственного молебна за свое исцеление. Как-то стыдно и даже страшно становится за тебя. Ведь ты сам же говорил: «Кто Бога забывает, того и Бог не милует». Положим, что Бог несказанно милосерден, в чем ты имел уже случай убедиться. Но Он и строго справедлив.

— Знаю, батюшка. Все мы под Богом ходим, да вот все не справлюсь как-то. То одно, то другое, — отговаривался Илья.

— Что касается недостатков твоих, то это неверно: ты ведь не из последних, не бедняк, а слово «недосуга» — пустая отговорка, по нашим житейским суетам, пожалуй, и умирать некогда, а ведь приходится же, рассуждал ли ты о недосугах, когда лежал на краю могилы?

— Оно хотя и вправду так, — сознавался Илья, — а как-то все не сладишь, да уж когда-нибудь справлю свое.

— Ты опять все в долгий ящик откладываешь, а скажи-ка мне: кто поручится за будущее? И силы могут изменить тебе, и хозяйство твое разрушиться может, и рад бы ты тогда радешенек исполнить обет, да будет поздно, а совесть еще при жизни будет мучить и терзать тебя.

— Если невозможно будет исполнить обещание, так ведь и Бог за то не взыщет, — оправдывал себя Илья. — А сказать-то тебе по совести: и молебны-то эти все, и дары-то наши нужны ли Богу, когда Он — Дух? Было бы вот тут-то! — и при этом ударил себя в грудь.

— Однако далеко же ты зашел, Илья. Ошибаешься! Правда, что Бог — Дух и ищет нашей сердечной любви и благодарности к Нему, но Он не отвергает и внешних жертв, наоборот, даже требует этого: «прославьте Бога в душах и телесах ваших», следовательно, то и другое тесно связано между собой и одинаково обязательно. Человек имеет от Бога душу и тело: значит, и благодарить Его он должен всем своим существом, то есть не только душой, но и телом.

— По-твоему вроде и так, да как? — не унимался Илья. — Иной человек благочестивый: скромник, малого ребенка не обидит и молитвенник усердный, ни одного праздника Христова не пропустит, чтобы не побыть у службы Божьей. Последними пожитками делится, а глядишь, этот благодетель за гумном и последнюю суму отберет у нищего, и в амбар залезет к соседу. Вот тебе и благочестие. Эх, батюшка. Пожив на своем веку, таких я видел немало. Значит, по-моему: благодарность-то нужно носить в сердце, а наружное-то дело часто лишь людей морочит да Бога гневит.

— Как видно, ты, Илья, умеешь рассуждать, только мне думается, что речи это не твои. Кто же втолковал тебе такие мысли?

— Кто? Известно, умные люди подсказали. Небось, поживешь, научишься, — самодовольно отвечал Илья.

— Похвально учиться только доброму, хорошо из жизни почерпнуть суждения зрелые, а не такие пагубные, какие усвоил ты. Пример твой не доказывает твоего положения, а, наоборот, только подкрепляет высказанную мной мысль. Кто напоказ делает доброе дело, а втайне творит зло, тот человек плохой, у него грязное сердце: а если грязное сердце злобствует под маской добродетели, то почему же доброму сердцу нельзя показать себя в делах христианского благочестия? Делать добро без сочувствия, а только по ханжеству — возможно, ведь, когда делаешь — преображаешься, а не делать добра по влечению благодарного сердца, по-моему, совсем нельзя. Выходит, ты не прав. И если на деле благодарности твоей нет, то ты никогда добрым и не был.

Полников уже не возражал, а только развел руками и отошел в сторону.

Видно было, что высказанная мною правда не совсем по вкусу крестьянину.

Модные суждения Ильи шли вразрез с его тогдашним искренним сердцем. Сколько ни подыскивал я причин для объяснения этой перемены — ничего на ум не приходило.

Однако скоро я все понял.

Один псаломщик, встретясь с Ильей, напомнил ему о пожертвованиях на храм по его обету, на что Полников ответил, что он обязан своим исцелением местной бабке, известной знахарке и

ворожее, а поэтому не считает свой обет чем-то обязательным, а то, что священник о нем напоминает — это лишь корыстолюбивый расчет.

Я постарался объяснить с Ильей. Полников признался в том, о чем говорил, и, несмотря на нелепость и очевидное наущение, эти слова так крепко засели ему в голову, что выбить их было невозможно. Илья отвечал нехотя, уклончиво. Вместо того, чтобы сознаться в своем заблуждении он прибег к обычной, увертливой фразе:

— Мы-де люди темные.

Как ни разубеждал я Полникова, а закончилось все ничем.

Прошел год, настал Великий пост. На дворе звенела капель. По скату дорог бежали потоки от таявшего снега. Мальчишки отправляли свои нехитрые суденышки на волю внешних вод. Я сидел на крылечке своего дома и вслушивался в тихое, мелодичное журчание этих потоков. Неожиданно из-за угла появляется псаломщик. Запыхавшись, в страшном волнении подбегает ко мне и говорит:

— Батюшка, слышали новость-то?

— Какую?

— У Полниковых-то что.

— Ты хочешь, вероятно, сказать, что сын за отца отправился на богомолье по святым местам? Знаю. На масляной неделе он приходил ко мне и говорил об этом.

— Как? Разве Сергея нет дома? — воскликнул псаломщик. — Боже мой. Какое несчастье. И сын в отсутствии. Вот она, кара-то Божья!

— Да о чем ты говоришь, о какой каре? — переспросил я его, не понимая, в чем дело.

— Илью-то нашего ведь лошадь загрызла.

— Как так загрызла?

— Да так и загрызла, сбила его с ног, да и давай рвать и кусать.

— Полно. Правда ли? Ты рассказываешь что-то ужасное. Как же я-то ничего не слышал об этом?

— Да ведь это случилось только сейчас. Сам я, впрочем, не видел, а слышал от сельских.

Меня поразило это известие. Жалко было нераскаявшегося старика. Я поспешил отправиться на место происшествия, и — все правда: только Полников был еще жив, умирал в палате больницы.

Вот что рассказывали мне очевидцы несчастного случая.

В обед, когда настало время задавать скотине корм, Илья понес в конюшню сено лошади. Всегда кроткий и смирный Сивко то храпел и испуганно жался к углам конюшни, то грозно потряхивал своей гривой и наступал на Илью, то снова отскакивал и опять наступал. Вместо того чтобы выйти из конюшни, Илье показалась забавной потехой такая шутка Сивки; он вздумал погладить своего любимца, не предполагая, конечно, того, что это не любимец вовсе, а

убивец, не по шерсти пришлась ласка. Он набросился на старика, схватил его за руку и, как мяч, отбросил в сторону, а затем подпрыгнул к нему, начал бить его копытами и рвать зубами, как хищный зверь. Присутствующие при этой сцене родственники никак не могли отбить старика от бешеной лошади. На крик сбежались соседи и тоже не помогли. Барахтаясь и отбиваясь, Илья заполз под ясли и завалился за кормовой чан. Достать теперь его было трудно, но не тут-то было. Рассвирепевшее животное стало на передние колена, протиснуло голову между чаном и стеной конюшни и достало несчастного. Люди ухватились кто за вилы, кто за топор, но Сивко, смекнув, бросил истерзанного Илью, повернулся грудью к народу, покорно дал себя обуздать и вывести из конюшни.

Полникова вынесли из стойла. Лицо и голова были сильно изранены и залиты кровью, руки изъедены и по локоть оторваны, грудь измята, ребра поломаны. В общем, как рассказывали, это был обезображенный и бесформенный кусок живого мяса. Несчастного отправили в Кирсановскую больницу, где он и отдал Богу душу.

Илью похоронили, а Сивко, как я слышал, хотели убить или сбить с рук, но ни того, ни другого не произошло. Убийца и сейчас здравствует, по-прежнему кроток, как ягненок, усердно трудится на пользу молодого хозяина и служит живым напоминанием кары Господней.

Наказание за неверие

Из воспоминаний старца

Я был молод, горяч и любопытен. Веру Господню — не знал. И чем старше я становился, тем хуже становился. Все хотел испытать своим интеллектом, чувственностью. Но Господь Милосердный вразумил меня.

Была весна. Пришлось мне заехать в небольшой губернский город. В семи верстах от него, на холме, стоял мужской монастырь. Там хранились множество святых мощей.

Я очень любил пение и нередко приезжал в этот монастырь послушать иноков. Пели они действительно прекрасно. Было у меня в монастыре несколько знакомых монахов, и я часто ночевал у них.

Вечерами, бывало, спорили мы о религии. Я смеялся над их верой, над их благоговением к святым мощам и смело заявлял о своем неверии. Монахи ужасались и зывали к моей совести. Один из них нравился мне в особенности. Это был высокий статный монах, отец Ириней. Знатного рода, образованный, умный человек. Его худощавое, слегка желтоватое лицо поражало своей святостью.

Я любил беседовать с отцом Иринеем. Келья у него была маленькая, бедная, но из окна открывался прекрасный вид на зеленую луговину, озера, а из-за небольшого леска приветливо выглядывали купола городских храмов.

На четвертой неделе Великого поста я выбрал теплый денек и отправился в монастырь.

Полюбовался на храм, послушал пение и отправился в келью отца Ириней, чтобы переночевать. Долго мы с ним толковали. В окне темнело темно-синее небо со звездами, а мы все еще не умолкали. Изредка слышались удары сторожа в чугунную доску. Монастырь спал.

— Нет, вы это бросьте и из ума выкиньте ваше неверие, — говорил отец Ириней, — тяжкий грех — неверие и тяжело накажется Господом.

— Ну а если бы я на деле доказал вам, отец Ириней, что вы заблуждаетесь, — поверили бы вы мне? — спрашивал я.

— Что вы, опомнитесь. Не глупее нас с вами были наши отцы, деды, а ведь верили. Верит уже целые века вся Церковь Православная, верили и верят миллионы людей православных. Прочитайте жития святых. Как же можно сомневаться в святости угодников Божьих и нетленности их мощей? Что вы! Бог с вами! — толковал отец Ириней.

Я промолчал, но затаил в сердце дерзкую мысль.

«Так и сделаю», — порешил я и лег спать, ничего не сказав отцу Иринее.

Уснуть никак не мог на жесткой постели монаха. А он долго молился и наконец задремал на полу, в уголке.

Убедившись, что он спит, я тихо встал, кое-как оделся и вышел из кельи.

На востоке белела заря. Звезды гасли. Ветерок освежил мне лицо. Я пошел к храму. Он был открыт. При слабом мерцании больших лампад едва можно было различить образа и очертания храма. Двое монахов суетились возле правого придела и не обратили на меня внимания. Скоро должна была начаться утренняя. На минуту мне стало страшно.

Я подошел к левому приделу раки почивавших там святых мощей. Остановился, огляделся. У раки горела лампада. Вблизи никого не было. Монахи, наверно, вышли. Снова какой-то страх охватил мое сердце. Я сквозь зубы усмехнулся, подошел к раке и смело поднял ее покров.

Мне хотелось потрогать мощи своими руками, близко разглядеть лицо угодника, — иначе я не верил в истинность мощей. Какая-то сила ниже и ниже сгибала мою голову.

Уже хотел коснуться святых мощей. Вдруг!

Был ли это удар грома или блеск молнии или что другое, я не знаю. Я увидел только поднятую руку... Все вокруг потемнело... поднялся какой-то шум в голове, в ушах.

Я опомнился на полу, в страшной, мучительной темноте. Что со мной было, где я был, — ничего не знаю. Я старался протереть глаза, увидеть, где я нахожусь, все было напрасно. Мир погас. Тогда я все понял... Я ослеп. Страшное дело задумал, и наказал меня Господь. Снова, с тоской и мукой в душе, я лишился чувств.

Пришел я в себя среди людей, слышались голоса, и среди них голос отца Ириней. Туг же, при всех, я, несчастный слепец, поведал свой неумолимый грех и свое наказание. Я знал, я чувствовал, что монахи плакали надо мной, и горько жалел, что не послушался их слов.

С тех пор я остался в монастыре и каждый день молюсь перед святой ракой. Я прошу Господа и святого угодника простить мне тяжкий грех мой. Я часто плачу и молюсь.

Теперь я старик. Господь умилосердился надо мной, — мои глаза видят теперь настолько, что я мог сам описать все, что случилось со мной.

Я живу, чтоб только замолить свой грех, молюсь я и за тех несчастных, которые и сейчас бродят во тьме неведения и греха. Я молюсь особенно за молодых, полных сил и надежд людей и прошу:

«Господи, вложи в их душу чистую веру, что, как солнечный свет, греет и освещает сердце человеческое».

И если молодежь послушает совета седого старика, умудренного горьким опытом, то пусть свято веруют. Сам Спаситель сказал Фоме: Блаженны невидевшие и уверовавшие!

Знахарь-губитель

В селе Усаде у крестьянина Василия Горшкова заболела молодая жена, Лукерья. Болезнь была очень тяжелая: больная «припадала», без причины кричала, бегала по избе и по улице. Придут к ней знакомые, она бросится к сундуку, вынет оттуда деньги, белье, одежду и молча начнет всем раздавать. А если увидит стоящего под окном нищего, то на его жалобную просьбу: «Подайте, Христа ради», — ответит страшными ругательствами, а иногда набросится на нищего либо с кочергой, либо с поленом.

В церковь Лукерью не пускали, боялись, что натворит бед. Когда Василий повез ее к церковной службе, попросить батюшку причастить больную, она до того расшумелась, что ее пришлось вывести из церкви силой.

С тех пор на селе стали говорить, что Лукерьей заправляет нечистая сила. Суеверные кумушки, сочувствуя Василию, припомнили ему о знахаре Епифаныче.

Этот знахарь слыл за большого искусника «прогонять нечистую силу». Темный люд и особенно женщины всецело доверяли Епифанычу и во всех случаях обращались к нему за советом.

Искусный на разные проделки знахарь фокусничал, чтобы обмануть доверчивых женщин и заработал себе капитал, позволявший ему жить привольно и неблагочестиво. А сколько бедняков он обобрал, сколько несчастных пустил по миру.

И что же тянуло народ к этому грабителю и обманщику? Каких-нибудь два-три пустых случая, когда больные выздоравливали сами собой. Кто-то, получив временное облегчение, долго рассказывал про искусство знахаря.

— Поди, травами какими пользовал? — спрашивали любопытные.

— Травы травами, а главное, молитвы прочтет, как следует перед святой иконой, только шепотом, а глядишь, тебе сразу полегчало.

И вот к этому Епифанычу Василий повез свою жену, предварительно продав свою единственную телку.

Епифаныч сурово встретил их и спросил о болезни.

— Бог знает, что такое. Припадает, говорят, от нечистой силы.

— А, ну коли нечистая сила, то по нашей части, и мы живо ее спровадим, только знаешь...

— Уж полно, Епифаныч, ничего не пожалею, только сделай милость, вылечи!

Почувяв хорошую добычу, знахарь решил испытать все средства, чтобы прогнать нечистого. Это не стоило ему большого труда. Положив больную на лавку, знахарь стал натирать ее лицо, голову и руки крепким уксусом, а потом заставил ее выпить рюмку какой-то мутной и очень пахучей жидкости.

— Вот теперь нечистый почует запах и, пожалуй, поторопится оставить твою Лукерью. Это уж будь покоен. Смотри, смотри, он уже пошевеливается.

И, действительно, в это время больная дернулась от озноба.

— Ничего, ничего. Это хороший признак, что вздрагивает... — утешал обманщик оробевшего Василия. — А теперь вот помолимся Господу Богу, чтобы Он поразил нечистого Своим духом.

Епифаныч положил на голову «бесноватой» какую-то икону и стал шептать незнакомые слова. Доверчивый Василий и не старался вслушиваться в то, что бормотал знахарь, забыл даже, где стоит, так как упал на колени и горячо молился, читая знакомый ему с детства псалом — «Живый в помощи...»

Сердечней и приятней Богу была его святая молитва. И богохульной была молитва знахаря. Бог ему судья!

Когда кончилась молитва, знахарь сказал:

— Теперь нужно выгнать из нее нечистого, а здесь не место, пойдем в лес.

Знахарь жил в лесу и состоял караульщиком. Была глубокая темная ночь. Ветер выл, деревья скрипели. Продолжавшую кричать Лукерью перенесли на небольшую опушку. Знахарь принес ружье и во что-то выстрелил. Только рассеялся дым, как между деревьев проскользнула какая-то белая тень.

— Вот он! — торжественно крикнул знахарь.

Василий и Лукерья задрожали от страха. Больная стала дико кричать и биться. Ее безумный крик далеко разносился по лесу.

— Ничего, ничего, — утешал знахарь. — Сейчас мы его окончательно прогоним, — раздался еще выстрел, и Лукерья почти замертво грохнулась на пушистый снег.

— Царица Небесная! — закричал Василий, бросаясь к жене. Несчастная окончательно сошла с ума.

— Что же это? — спросил Василий.

— Ничего, хорошо. Нечистый оставил ее, и она теперь спит. Домой привезешь ее здоровой.

Василий расплатился со знахарем, бережно уложил бесчувственную жену в сани и отправился домой. Бедный, он еще надеялся, что больная поправится.

Мог ли он думать, что знахарь погубил его жену?

Прошла неделя, в течение которой Василий убедился, что жена его совсем потеряла рассудок и теперь невыносимо страдает от боли в животе и в сердце. Когда он вспомнил все фокусы знахаря, он понял, что все это обман. Терзаемый, Василий поехал за священником, которому и рассказал все без утайки. Священник ужаснулся от услышанного и сказал:

— Василий, я тебя знал умным мужиком; неужели ты не понимал, что знахарь почти отравил твою жену и напугал ее до безумия? Ну, скажи ты, ради Бога, кто дал ему власть изгонять нечистого духа? Ведь это делал только Иисус Христос Своим словом да те, кого Он сподобил. Горе будет тому несчастному и тебе за твою доверчивость. Слышал ли ты его молитву? Это

была не молитва, а кощунство. Молитвы у нас все записаны в церковных книгах, и особых молитв нет!

Священник исповедал больную. Но она была безумна, и поэтому он оставил ее на волю Божию.

— Воля Божья. А тебе, Василий, и другим урок — в подобных случаях прибегать не к знахарям, а к Богу.

Господь вразумил

Рассказ странника

Суббота. Я только что приблизился к стенам одного древнего монастыря. Кончилась вечерня, богомольцы в ожидании всенощной разбрелись по роще в поисках прохлады и отдыха. Я тоже выбрал уединенное местечко на крутом берегу реки под кудрявыми липами и любовался красотой окрестностей: зелень лугов на горизонте сливалась с лазурью безоблачного неба, река медленно катила свои волны. Было тихо. Только слышался плеск купающихся ребят и жужжание пчел. Жара спадала. Святое место и роскошная природа навевали на меня глубокие думы.

Мысль унеслась в древность, когда на месте этого благоустроенного монастыря дремал непроходимый бор, и там одиноко ютилась убогая келья преподобного. Сколько веры и духовной силы нужно было ему иметь, чтобы совершить подвиг отшельничества.

Не одно уже столетие прошло, обитель росла, украшалась, переживала и скорби, и невзгоды вместе со всей Русской землей.

Много жертв и усердия положено тут православными, немало теплых молитв произнесено здесь, и вот под покровительством святого угодника прославляется и цветет этот памятник веры и благочестия.

Чьи-то шаги прервали мое раздумье. Оглянувшись, я увидел, что недалеко от меня садится на траву пожилой мужчина в подряснике послушника, с котомкой на плечах. Он казался болезненным, задумчивым и кротким. Сосед меня заинтересовал, и я решил заговорить с ним.

— Откуда вы? — спросил я.

Услышав мои слова, он слегка восторженно, оглядел меня и сказал:

— Про дом ли мой вы спрашиваете меня или про то, откуда я пришел? Если про дом, то я его не имею и не стою, а пришел я сюда из пустыни.

Такой ответ еще больше заинтересовал меня; видно было, что душа у этого человека болела, а совесть искала умиротворения.

— Почему же вы так строго относитесь к себе? Судя по вашему виду, нельзя предположить, что вы большой грешник.

Странник помолчал, а потом, вздохнув, сказал:

— Хоть и тяжело мне говорить про свой позор, но... вам расскажу, вы человек молодой, может, и полезен будет вам этот рассказ:

— Родился я в деревне рядом с городом в зажиточной семье. Отец был огородник. Был я ловкий, способный: хорошо учился и шалить не забывал. Присмотреть за мной было некому: мать была женщина смирная, я ее почти не слушался, а отец сам баловал меня за баловство. Рос я, можно сказать, как крапива у забора, что ни льют — знай, выше поднимается, и в моей душе накопилось много всякой грязи, а хорошего, доброго — мало.

Деревня наша была разгульная, народ бойкий, торговый, благочестивых примеров не было, зато кабаков — тьма, и все красивые, всегда около них шумно, многолюдно. Для нас, малолеток, самый смак — вертеться около трактиров, отогнать нас от пагубного места никому в голову не приходило, наслушались мы с ранних лет всякого сквернословия, нагладелись на безобразия, драки и сами привыкали издеваться над малыми и старшими. Соберем по пятаку, купим водки, разопьем где-нибудь на задворках.

Подрос, отец стал брать меня по базарам в помощники, но и здесь добра не видать: обман, ругань, как пчелы жужжат в ушах целый день. Мне все это на руку было: к шалостям я привык.

Но деньги требовались, вот и думаю я, сидя на возу, как бы утаить гривенник-другой. Но скоро про все мои проделки узнал отец, стал меня наказывать и через неделю решил отправить к знакомому мастеру в подмастерья.

— Не хотел, — приговаривал он на прощанье, — отцу служить хорошо, ну, ступай, чужим людям послужи, там из тебя все дурное скорее вытрясут.

Но ошибся отец: чужие люди дури во мне не убавили, а прибавили.

Попал в большую мастерскую. Хозяин о нас, малолетних, не заботился. Старшие мастера, народ грубый, пьяный, что хотели, то и делали с нами, — особенно плохо приходилось тем, кто помирнее и побезответнее. Я был из всех подростков самый шалый, обижали меня мало, зато приучили ко всему плохому больше, чем других. Впрочем, я и сам был мастак на злое дело.

Вот жизнь была. Без содрогания нельзя вспомнить, что творилось в нашей душной, грязной мастерской. Хирели телом, гибла и наша душа. Кончится работа, сразу пьянство, а с ним и сквернословие, драка, надругательство над слабыми, беззащитными, — то же самое в праздники церковные, и некому было нас вразумить, о стыде напомнить, в церковь Божью послать или ласковое слово сказать.

Немудрено, что многие из нас вышли преступниками. Пролетели пять лет, я стал хорошим мастером, неплохо зарабатывал. Попади в хорошие руки, может быть, и на путь добрый встал бы, но доброго человека рядом не было, и пошла моя жизнь еще хуже. Про дом я забыл, и не тянуло. Отец писал, чтобы денег выслал, а я и писем не читал, отвечал, что самому плохо.

Долго терпел отец, наконец, задумал к рукам прибрать, паспорта не выслал и велел немедленно ехать в деревню. Пришлось покориться. Еду, а сам злобствую: «Погодите, я свое возьму!»

Приехал, ко мне родные с лаской, с расспросами, а я волком гляжу. Дождался первого праздника — в трактир, и — пить горькую. Ни угрозы отца, ни уговоры матери не действовали. Пожил месяц, деньги кончились, гулять не на что, а без гулянья скучно.

Стал проситься в Москву, все равно, говорю, не работник я.

— Нет, Сеня (звали меня Семеном), шалишь, не на того напал, чтобы по головке гладить тебя, — твердил он мне.

Вижу, что с отцом ничего не поделаешь, и придумал хитрость, прикинулся заботливым. Отец поверил мне. Прошло полгода, и говорит он мне:

— Я тебя, Семен, женить надумал, собирайся невесту смотреть.

Я не противился. Невесту мне приискали — девушку смирную, но бедную, из богатой семьи за меня бы не пошла, и эту-то, говорили, родители принудили. Невесту посмотрели, а через неделю и свадьбу сыграли. Пожил еще месяца три тихо, скромно и опять стал у отца на заработки проситься.

— Ну, если хочешь, пожалуй, ступай, трудись с Богом, только смотри не беспутствуй, ты теперь человек женатый, должен понимать сам, как жить следует, — сказал отец.

— Помилуйте, батюшка, — говорю я ему, — мало ли, что было.

Хитрость моя удалась, снова я в Москве и опять окунулся в свою прежнюю безобразную жизнь, изредка только стал посылать домой часть денег, чтобы в деревню опять не забрали.

Писали мне, что сын у меня родился, но это нисколько меня не порадовало. Приехала жена, пожила со мной года полтора, нагладелась, бедная, на все мое безобразие, натерпелась — все сносила, видно, сильно ей хотелось образумить меня, заблудшего. Родилась еще дочь, я и рад был спровадить жену в деревню. Не знаю, сердилась ли она на меня или нет, ничего не сказала, только заплакала, когда отправлялась. Извелась она у меня за эти полтора года. Поехала бледная, худая, что называется, краше в гроб кладут.

Странник прервал свою речь. Я заметил, что глаза его подернулись слезами, тяжело, видимо, было вспоминать свой прежний позор. А потом продолжил:

— Но Господь смилостивился надо мной, окаянным, стал посылать вразумление за вразумлением. Пришло известие, что отец умер, мать с женой домой звали. Ехать я и не думал, денег тоже прислать не мог, за свое дурное поведение с места хорошего меня выгнали и я перебивался кое-как от одного хозяина к другому.

В то же время стыдно стало: совесть, видно, еще уцелела во мне, как ни топил я ее в вине и в праздной жизни.

Встретился однажды земляк и говорит:

— Что же ты, Семен, Бога не боишься, совсем кинул семью, а ребятки-то у тебя какие славные растут, ты бы поглядеть съездил.

Ничего я ему не ответил, но многое понял. Иду как-то по улице, колокола гудят, народ православный в храм спешит, а у меня на сердце тоска камнем лежит, не знаю, куда и деться: в кабак — денег нет, а в церкви уже лет десять не был. Попался мне оборванный, худенький, синий от холода мальчик лет восьми:

— Подай, дяденька, на хлебушек, Христа ради, — сказал он. Жаль мне стало мальчика, а подать нечего. — Кто же, — спрашиваю его, — послал тебя побираться?

— Мама, — ответил он, указывая на женщину, которая одной рукой держала ребенка, а другую протягивала прохожим.

— Что же, аль у тебя отца нет?

— Есть, только нехороший он у нас — маму все бил, а теперь совсем бросил, пьянствует, а нам есть нечего. Мама говорит, что Бог его накажет за нас.

Как выслушал я слова мальчика, так и похолодело во мне. Ведь и я бросил ради пьянства свою семью и глубоко обидел родных, и я заслужил наказание Божье. Как будто ножом кто-то резал мне сердце, пока я шел не знаю куда.

Шел, шел я и слышу складное пение. Остановился около церкви. Дай-ка, думаю, зайду. Вошел, обедня давно уже началась, дьякон вышел читать Евангелие. Читал он о том, как один непокорный сын ушел от отца в далекую страну, растратил там все, стал бедствовать, как потом образумился, вернулся к отцу своему и как отец ласково и милостиво принял его.

Господи, подумал я, слушая чтение, опять Ты посылаешь мне вразумление: не я ли такой же великий грешник? И множество мыслей промелькнуло в моей голове во время этой службы: вспомнил я и про Бога Милосердного, увидел и все свое безобразие. Кончилась обедня. Вышел священник. Он опять говорил о том же блудном сыне — о том, как грешно не почитать родителей, как пагубно предаваться пьянству, распутству:

— Посмотрите, — говорил он, — на скот бессловесный; и тот знает меру: не объедается, не опивается до бесчувствия, а человек разумный доводит себя до того, что не помнит себя: растерзанный, бесчувственный, валяется на позор и посмешище на улице.

Глубоко запали мне в душу эти слова: справедливы они были.

Из церкви я вышел успокоенный, в душе родилась жалость к брошенной семье. Иду в квартиру и думаю:

«Нет, пора все бросить, пора образумиться». После этого работать стал усерднее, пить бросил, одна мысль в голове: скопить немножко денег и скорей в деревню к своим.

Но, видимо, легко только падать, а подниматься трудно. Очень уж я привык к разгульной жизни, и соблазн был на каждом шагу. Месяц я крепился — жил хорошо, а тут, на грех, товарищи попались и деньги завелись, не выдержал соблазна, напился, а просплюсь — не знаю, куда деться от стыда, совесть мучила меня, одно средство против нее: залить вином, — и заливал ее я, не знаю, как только жив остался. Эх, как бы драгоценна в то время была бы поддержка и забота доброго человека. Но откуда же она могла прийти? Кому пьяница нужен?

Скоро дошел до того, что все заложил, пить, есть нечего было, и здоровье совсем испортилось; во рту сухо, внутри горит, руки трясутся, ноги не ходят, на лицо смотреть страшно, смерти у Господа просил. Вот в это-то самое время земляки привезли мне печальную весть, что дети мои умерли от скарлатины и жена извелась, сердечная. Как услышал я это, так не помню, что сделалось со мной: помню только, что весь лежал как в огне и все рвал на себе, тут же заболел, месяц пролежал в больнице.

В бреду мне чудилось: то детские ручки грозят мне, то оборванный мальчик с улицы кричит:

— Накажет Бог тебя, накажет!

А то бледное, заплаканное лицо жены так строго-укоризненно смотрит на меня, что не знаю, куда спрятаться.

Выздоровев, я почувствовал, что сил нет, работать не могу, к вину — отвращение. Дорожные собрали знакомые, своего-то у меня уже ничего не было. Путь был длинный — около 150 верст;

иду и думаю:

«Господь бы допустил поплакать над родными могилками да у матери вымолить прощение, она теперь одна, бедная, горюет на старости лет».

Время было теплое, хлеба высокие, травы густые, — отвык я от деревни, стало веселее, как увидел знакомые поля. Вот показался крест церковной колокольни, а вот из-за бугра выглянули кровли нашей деревни. Подхожу к дому, стройка вся обветшала, опустилась, смотрю — у нашего дома толпится народ, меня никто не узнает — как узнать?

Пошел молодцом — воротился стариком.

Слышу, из дома несется протяжное чтение. Вошел, на столе под образами лежит моя мать, готовая к погребению. Увидел ее, родимую, так и грохнулся на пол.

Мать похоронили, а у меня на душе черно. Прогневался на меня Господь, не допустил и с матерью повидаться. Справедливо, Ты, Господи, наказываешь меня. Не замолить мне, беспутному, все обиды, которые я сделал своим родным. За что, Господи, земля-то сырая держит меня, окаянного? Не им, а мне следовало в могиле лежать за все мое беззаконие.

Случалось, руки хотел наложить на себя. Но как в церковь на службу сходишь — отпускает.

Что делать? Чем заняться? Дай, думаю, пойду к батюшке, у него попрошу наставления. Батюшка принял меня ласково, утешил:

— Много ты, Семен, грешил, но милости Бога нет конца, молись Ему за себя и за своих родных, усерднее молись, и Он укажет тебе путь добрый.

Послушался я батюшки, и стал приучать себя к молитве. Трудно было, но потом Бог помог, ничего для меня не стало слаще того, как сходить в храм Божий помолиться Господу Богу. Он услышал меня. Указал мне путь, по которому мне легче и спокойней идти. В деревне нашей решили открыть школу, только не было помещения. Наш дом был хоть и ветхий, но просторный. Думаю, хоть им послужу, православным. Пришел на сходку и объявил, что жертвую его под школу. Остатки же имущества распродал, деньги положил на вечный помин родных, а сам пошел по святым местам замаливать свои грехи да благодарить Бога за милости ко мне, окаянному, недостойному.

Теперь летом хожу по монастырям, а зимой прибуду в какую-нибудь глухую деревеньку и учу ребятку азбуке, молитвам, как умею, и за все благодарю Господа. Воистину милостив Он к нам, грешным.

Странник закончил, уже вечерело. Раздался благовест к всенощной. Мы перекрестились.

— Прощайте, барин хороший, — вставая, сказал странник, — запомните мой грустный рассказ, не откажите в добром слове заблудшему человеку и в защите несчастным подросткам, погибающим от великого соблазна, если встретите таких, а встретить их легко, много нас, беспутных, несчастных, живет на Руси, — и он пошел в монастырскую церковь.

Был зверь — стал человек

Стояла великопостная тишина, нарушаемая разве небольшим великопостным благовестом. От села к церкви плелись старушки. На паперти толпились ребяташки. С высокого узорчатого крыльца нового трактира спустился дюжий, хорошо одетый мужчина лет сорока пяти.

Сановито пошел он по направлению к церкви, с важностью откланиваясь на почтительные приветствия крестьян.

— Далеко ли собрались, Аким Петрович?

— Да вот говеть надумал, для Бога потрудиться хочу, — отвечал он.

— Акиму Петровичу мое почтение! — приветствовал его около самой церковной ограды торговец из соседнего села. — Как живешь-поживаешь? Далеко ли гулять изволишь? Никак, в церковь? Что это с тобой? Ты вроде не особо до богомольства-то...

— Какой я богомолец, — улыбаясь, отвечал Аким Петрович — ныне некогда, завтра недосуг, там лень одолеет, так год-то и пройдет... Вот и надумал поговеть, а то отец Алексей заладил: «Поговей да поговей, стыдно, говорит, больше десяти лет не был, не по-христиански, нехорошо», — даже при людях стыдить стал. И правда, что нехорошо, вот и надумал.

— Дай Бог, дай Бог. Конечно, поговеть-то лучше, наше дело грешное, что ступил, то и согрешил: неровен час и помереть недолго. Ну, до свидания, Аким Петрович. — И, стегнув лошадку, он покатиł своей дорогой.

А Аким Петрович Мамонов вошел в церковь, пробрался сквозь редкие ряды богомольцев к правому клиросу и встал около него.

Непривычно ему молиться, и мысли все о торговле и хозяйстве: думал он, как бы поудобнее перевезти к празднику товарцу из города на наступившей уже распутице, как бы заставить мужичков отдать долги и все такое. Но вот оглянулся он на богомольцев, и на многих лицах этих бедняков заметил то, что уже давно не появлялось на его сытом, горделивом лице: старушка, опустившись на колени перед образом Спасителя, шепчет:

— Господи, Царь Небесный! Помилуй меня, грешницу... Мать, Пресвятая Богородица! Спаси меня, окаянную, — а слезы так и текут из ее старческих глаз, с верой и любовью обращенных к образу.

Рядом со старушкой горячо и громко вздыхала молодая женщина; около бедно одетый, с умным лицом крестьянин, смиренно вслушивался в чтение псаломщика. С иконостаса и стен строго смотрели лики святых угодников.

Одиноким почувствовал себя Аким Петрович среди всех этих простых людей, собравшихся в храм помолиться Творцу за свои грехи, выплакать здесь пред Ним свою скорбь. Жутко стало у него на сердце среди благоговейной, церковной тишины.

Вышел священник из алтаря и перед царскими вратами звучным голосом прочел молитву: «Господи, Владыко живота моего...» Все клали земные поклоны. Но вот на клиросе стройно запели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи».

Вдумался Аким Петрович в смысл прекрасной молитвы и сладких евангельских слов, тронули они его сердце, в нем заговорило что-то новое, небывалое, напомнили они ему забытые наставления умершей матери — жить по-Божьи, жалеть людей, молиться о Царствии Небесном. Рядом с этими воспоминаниями в глубине его души шевельнулась совесть.

— Недостоин ты, — сказала она, — Царствия Божия, далеко-далеко стоишь ты от него, а удалила тебя твоя грешная, безобразная, скотская жизнь.

Упал на колени Аким Петрович, и из его зачерствелой души вырвался первый, после многих лет бессовестной жизни, покаянный вздох, первый молитвенный вопль.

Солнце уже было высоко, когда кончилась Литургия Преждеосвященных Даров и говельщики стали расходиться из церкви по домам. Шел и к себе домой Аким Петрович, но не так, как он обыкновенно ходил по своему селу, гордо оглядываясь, сознавая свое превосходство и силу над односельчанами, а скромно, склонив голову, шел он вдоль улицы.

Дома он и не поглядел на свое обычное место — стул за буфетом, а прошел в отдельную каморку, достал с полки запыленные, забытые сказания о жизни святых и стал читать их. Читал он, не отрываясь, до самого благовеста к исповеди, и как только раздался первый удар колокола, встал он с лавки, набожно перекрестился и поспешно стал собираться в церковь.

В церкви за ширмами уже ждал кающихся священник. Первым подошел к нему Аким Петрович, долго беседовал он со своим пастырем и каялся перед ним в своем беззаконии, как никогда, ни разу в своей жизни.

Сумерки накрыли Тихое, в избах мелькали огоньки, трактир Акима Петровича освещен тускло: посетителей нет, а хозяин задумчиво сидит у окна своей каморки. Его прошлая жизнь отчетливо развернулась перед ним: из простого мужика скупостью, обманами сделался он почетным богачом, перед которым ломал шапку весь околоток. Построил он себе большой, хороший дом, открыл трактир, набил кошелек, забыл Бога, а думал и помнил об одном богатстве: каждый вечер подсчитывал дневные барыши и думал, как бы на другой день выторговать побольше. Так и засыпал на своих перинах, тревожась лишь о том, чтобы не расхитили его сокровища.

Крепко уснула в нем и совесть, убаюкиваемая ненасытным корыстолюбием.

Но сегодня вник он в службу Божью, напомнила она ему о молитве, покаянии, разбудила его уснувшую совесть, и Таинство Исповеди озарило его заблудшую душу светом, и увидел он, что жить по-прежнему — позорно.

Все, что радовало его, влекло, теперь потеряло в его глазах цену: забыл он про свой кошелек и про долги мужиков, и про товар, и про торговлю.

Прочитанные им книжки о подвигах святых угодников, которые он не брал в руки с тех пор, как закончил учиться грамоте у приходского пономаря, открыли перед ним мир добра, жизнь для Бога, для ближних.

Семья вся улеглась, а Аким Петрович с усталой и разгоряченной от непривычных дум головой, вышел на воздух. От церкви неслись дребезжащие звуки сторожевого колокола. Бесконечная синева небесного свода раскинулась над селом и его дремавшими окрестностями, с высоты небесной ярко смотрели звездочки на заснувший грешный мир.

Напротив трактира росла из земли избенка бедняка Власа, у которого на днях Аким Петрович взял последнюю лошаденку за долги, а на задах прилепилась убогая хатка вдовы Акулины, вчера только умолявшей своего соседа-богача Акима Петровича дать хоть немножко соломки прокормить корову — последнюю кормилицу малых сирот.

— Много вас здесь шляется таких, — крикнул тот в ответ на ее жалобные просьбы, — пошла, пошла! Для вас ли соломка?

Чем дальше и дальше смотрел Аким Петрович вдоль сельских слобод, тем больше и больше

вспоминал он: как одного мужика обсчитал, другого обмерил, этого споил. Тихо... ничего не мешало трактирщику вспоминать. Только где-то кричал ребенок, и голодная Акулинина корова жалобно мычала на дворе.

— Господи! — сказал сам себе Аким Петрович. — Как я бессовестен, нехорош. И стою ли я милости Твоей? Стою ли я того, чтобы Ты допустил меня завтра приобщаться Святых Тайн?

Послышался стук в окно Власовой избы.

— Кто тут? — крестясь, спросонок, отозвался Влас.

— Это я, твой сосед-трактирщик, выйди-ка на минутку.

Ветхие ворота скрипнули. Показался Влас, но, увидев богача-соседа в смиренном, небывалом виде, державшего за повод лошадь, он в удивлении остановился.

— Прости меня, сосед, — начал Аким Петрович, — за все мои обиды тебе, да вот и лошадку-то свою возьми назад, владей на здоровье, прости, счастливо оставаться.

Влас постоял-постоял, посмотрел вслед трактирщику, ласково потрепал по шее своего Сивку и пошел во двор.

— Ох, Господи, дела, дела... — сказал он, закрывая ворота. — Видно опомнился наш тиран. Вразумил его Христос, Царь Небесный.

А тиран отправился к вдове Акулине и ее удивил своим приходом в неурочный час.

— Вот что, тетка Акулина, — сказал Аким Петрович, — ты на меня не серчай за вчерашнее, что покричал на тебя, корму возьми, сколько тебе требуется, а гнев и брань мою забудь, а вот тебе за обиду, возьми, годится ребятишкам на баранки, — и сунул ей в руку рубль.

В большом окне Акимовой каморки сияли бледные лучи лампадки, сам он на коленях стоял перед большим киотом с образом и молился.

Закончив молитву, снял с гвоздя поддевку, положил под голову и, крестясь, лег на голую лавку. Молитва, чистосердечная исповедь и доброе начало навяли мир и отраду на его грешную душу.

«Помоги мне, Господи, — шептал он, — сделать побольше добра всем тем, кого я так много и так часто обижал, и не отвергни завтра меня, Милостивый, за грехи мои от Святых Тайн».

И заснул вразумленный богач на голой, жесткой лавке так сладко и спокойно, как не спал он никогда на своих мягких перинах.

Прошло пятнадцать лет. Село Тихое такое же тихое, не изменился и дом Акима Петровича. Не видно только над его крыльцом расписной зеленой вывески. Но много изменений произошло в приходском храме: прежняя бедная, плохо выкрашенная, с погнувшимися главами, церковь превратилась в чистенький, белый, красивый храм, увенчанный вызолоченным, ярко сияющим на солнце крестом, а около церковной ограды, на пустом прежде месте, приютился новенький домик с вывеской: «Приходская школа», а рядом с ним — другое, белокаменное здание — церковная богадельня.

Пасха. Апрельский день. Луга уже начали зеленеть. По улицам толпами разгуливал нарядный,

сельский люд. С колокольни неся стройный трезвон, — звучно гудел большой, новый колокол. Из дома Акима Петровича только что вынесли святые иконы и вышла толпа народа. Причт служил у него обычный пасхальный молебен, а после молебна соборовал самого хозяина.

Аким Петрович лежал на смертном одре, но смерти не боялся он, на душе у него было мирно, спокойно: он точно исполнил свое обещание, данное ночью после исповеди, накануне причастия. Он бросил торговлю вином и кулачество, стал добрым христианином. Выбрали его церковным старостой, и в течение почти пятнадцатилетней службы он помог сделать все то, чем теперь отличался приход села Тихого: украсил церковь, построил школу и богадельню, приобрел новый колокол, помогал беднякам, весь свой капитал потратил на доброе дело. Господь услышал молитву раскаявшегося грешника и помог ему, как он искренно желал сделать много добра всем, прежде обиженным.

— Подойдите ко мне, — сказал умирающий Аким детям и внучатам. Те подошли. — Вот вам, детушки мое последнее родительское завещание: не отбивайтесь от храма Божьего. Говейте каждый год. Чаше размышляйте о своих грехах. Был я зверь безжалостный, хуже бессловесного скота, продал всю совесть, не знал сострадания к людям, но Он вразумил меня в храме, во время говенья, и стал я из зверя человеком.

Вечером того же дня все село узнало, что Акима Петровича не стало, отошел он к Господу в радостный, пасхальный день. В каждой избе говорили о покойном. Помнил его народ великим грешником, а узнал праведником.

Божие наказание

Рассказ сельского священника

С последних чисел мая не было ни капельки дождя. Горел сухостой, пылали деревни. И так все лето. От жары пожелтела трава, листья на деревьях съежились, соломенные крыши домов и сараи были как порох. Малейшая искорка — и все бы загорелось.

Праздничный день в селе Гриневич выдался особенно хорошим. Но в сельской церкви было совсем мало народа. А все дело в том, что местные крестьяне в этот день обычно отправляются на ярмарку в соседнее местечко. А свой храмовый праздник они справляют в другой день. И вот тогда в селе действительно — торжество. Когда случилась эта подмена — неизвестно. Никакие вразумления на крестьян не действовали.

Но один случай заставил крестьян изменить свой обычай.

Мы уже говорили, что день 15 августа был необыкновенно жарким.

Бесконечные ряды повозок направлялись к соседнему местечку на ярмарку. Они тянулись в течение целого утра. Веселый говор и смех людей, смешивался с грохотом повозок, мычаньем коров. Отправились на ярмарку и крестьяне села Гриневич. Так как была превосходная погода, то отправились все, кто мог. Остались старые и малые.

В сельской церкви только что кончился молебен. Молящиеся перекрестились и разошлись по домам. Отправился домой и я. Было обеденное время. За обедом шла оживленная беседа. Говорили о том, как пели сегодня в церкви, как мало было народа. После обеда я вышел прохладиться в садик. В воздухе сновали ласточки.

Прохаживаясь по дорожке, я взглянул на село. Смотрю: над одним домом показался дымок. И становится все гуще и гуще. Не прошло и минуты, как огромный сноп пламени взвился в

воздух. Еще минута — и огненная стихия с яростью жадного зверя растерзала свою жертву.

С колокольни послышался частый звон.

Мы отправились в село. Свирепствовавший огонь шумел, заглушая слезы человеческие, возгласы и рыдания. Когда подошли ближе, людской говор сделался слышнее. Не знающее пощады пламя охватило уже десятки домов. Кругом стоит растерянная толпа: дети, старики. Между тем пламя не ждет. Вот оно перебросилось уже на сельские гумна — единственное богатство крестьян. Там и сено, там и хлеб. Но пламя уничтожает все. Ни пожарная команда, ни отчаянные усилия и старания возвратившихся с ярмарки хозяев не могли ничего сделать с буйной стихией.

К концу осталось только два крестьянских дома. Были целы также и строения священника и псаломщика. Оставшиеся целыми здания принадлежали тем, кто в храмовый праздник всегда оставался в своей церкви.

Спустившиеся сумерки объяли землю. А пожар все еще не прекращался. То там, то здесь вздымалось яркое пламя. Тлели ворохи сена, догорали склады хлеба. Над бывшим селом вздымался ветерок.

Возле своих бывших избушек с унылыми и печальными лицами сидят бывшие домохозяева. У некоторых полное отчаяние. Ни мысли, ни намерения — одно горе на лицах. Женщины плачут, заливаются. Слишком сильное горе только теперь разрешило им дать волю своим слезам. Их малолетние, еще глупые дети смотрят и недоумевают, что все это значит. Их матери посмотрят на них — и еще больше зальются слезами, еще сильнее зарыдают.

Вот один говорит своей матери:

— Мама, мне холодно.

Бедная мать не знает, чем укутать своего малютку, чем согреть его. Никто ничего не вынес из ее дома, да и нельзя было. И только сильнее прижмет дитя к груди, завернет фартучком.

С этого времени день своего храмового праздника сельчане всегда празднуют как следует. Они уже обожглись и благодарят Бога за вразумление.

Правда и кривда

Умер у Гаврилы и Василия отец, оставив им хороший дом и денег про запас. Погоревали братья, но делать нечего, стали приниматься за дело. Прожили год хорошо, другой — тоже ничего, а потом как будто черная кошка между ними пробежала — пошли споры. Из-за чего бы вы думали? Из-за жен. Они поругались как-то около печки и давай мужьям друг на друга жаловаться. Старший Гаврила был мужик умный, не слушал наговоров своей жены, а меньший принял слова к сердцу и утром же принялся Гавриле выговаривать.

— Да брось ты, ради Христа, все эти наветы, не наше дело в них впутываться, впору свой труд по хозяйству справлять! — сказал старший брат и хотел было отойти.

Не тут-то было: сердце у младшего разгорелось, и он начал приставать к Гавриле, и все-то с разными укорами: ты, мол, и силу всю с женой в доме забрал, и нас ни во что не ставишь, — и пошел причитать, как над покойником. Известное дело, человек не камень, хоть и терпелив был старший, а не стерпел неправды.

— Ты меня, Василий, не учи, я сам не мальчик, понимаю, как надо жить по-Божьи. До этих пор мы жили, слава Богу, теперь тебе, видать, захотелось худого. Бог с тобой, как хочешь, поживи один, может, будет покладнее да вольготнее.

И с тем братья разделились. Гаврила остался в старом гнезде, а Василию построили новую избу.

Гаврила жил хорошо, на поле выезжал почти всегда первым, хлеб у него родился хороший, потому что все он делал вовремя. Василий был ленив. Любил поспать, и выходило у него всегда хуже. Завидовать стал. И задумал поскорее разбогатеть, нос утереть братцу своей смекалкой.

Хозяйство побоку, — принялся Василий за торговлю. Поехал в город, накупил побрякушек, выстроил около избы лавочку и начал себе похаживать, руки в кармашки да в бороду посмеиваться. В первое время дело шло хорошо: кому масло, кому изюм нужен. Денежки посыпались в карман Василия. Гаврила смотрел и только головой качал:

— Не вытерпит, попутает бес, попадет под ответ.

И правда, бес скоро завладел душой Василия: уж очень много соблазнов было. Придет, например, баба за тесемкой, сама до трех сосчитать не умеет, ну, как ее не обмануть? И Василий обсчитывал. Пошло обвешивание, обмеривание, и так, чем больше прибывало у торговца, тем он становился ненасытнее. Однако крестьяне стали примечать грешки Василия и чаще посылали за покупками в город; дело его пошло хуже, а тут еще подвернулся другой торговец из солдат, да такой богобоязливый, что присылай хоть малого ребенка, отпустит как большому да еще накажет, чтобы сдачу не потерял.

Дело встало, а там кто-то пожаловался начальству, и вышел приказ — Василию закрыть торговлю.

Что делать? Пригорюнился. От работы отвык, а есть хочется, пошел он искать место. Скоро посчастливилось ему и тут. Поступил он в приемщики хлеба на мельницу, зарплату дали за грамотность 200 рублей в год. Можно было бы жить припеваючи. Но ему мало показалось, и стал Василий подворовывать. А однажды с одним торговцем из другого города взяли у хозяина сразу сто мешков муки. Хозяин накрыл Василия на этой проделке и отдал его с сообщником под суд.

В суде не милуют. Василию тоже досталось: его приговорили к острогу, а после отсидки отправили в раздольную Сибирь на вольное поселение.

Узнав об этом, Гаврила заплакал от жалости и поехал навестить брата.

— Василий, я тебе говорил, — живи по-Божьи, лучше будет, а ты захотел легкой наживы. Чужая денежка ребром ложится, а своя плашмя, да плотно. Бог тебе судья; не поминай лихом.

Прошло много времени. Гаврила жил честно. За хорошее поведение и за рассудительность его выбрали в волость в старшины, а о Василии пошел в селе слух, что он где-то сгинул.

Теперь и думайте — кому лучше жить: тому, кто с правдой близко знаком, или — с кривдой?

Раскаяние

У новой избы богатейшего на селе мужика, Игната, собралась вся его семья. В новом кафтане, поглаживая седую бороду, сидит на завалинке сам Игнат. Рядом с ним жена, сын, сноха и

внучата.

Разговаривают. Недавно выстроил Игнат свою избу, и ворота, и забор около огорода, подновил все свое хозяйство, прикупил лошадь и корову.

На селе все любят и уважают богатого Игната. Никогда он никому в помощи не откажет — и бедным подаст, и церковь не забудет.

Его стараниями блестят и сияют в сельской церкви новые образа, разукрашенные богатым шитьем жены Игната, Авдотьи.

И дети у Игната добрые да работающие. Никто против Игната дурного слова не скажет. Правда, говорили люди, что сразу вдруг разбогател Игнат, что неоткуда ему было денег достать, чтобы купить себе богатую мельницу, что, наверно, не добрым путем он достал их. Но мало ли что болтают.

Игнат жил припеваючи, никого не обижал, всякому помогал. А что у него на душе лежит, Господь один знал.

Устал он за неделю и сидит у своей избы да радуется всякому деньку весеннему.

— Дедушка! — кричат ему внучата. — Глянь-ка, мальчонка пришел к нам, хлебушка просит, махонький — бедный, босой, дай ему, дедушка, хлебушка.

Улыбается старик Игнат, ласкает внучат своих.

— Ну, ну, зовите, ребята, кого там нашли? — ласково говорит он.

Подошел к воротам маленький мальчик и робко остановился.

Бедный, рваный, в кровь разбиты грязные, босые ноги, большая рваная шапка едва прикрывает курчавую головку.

Стоит мальчик, озирается. А по бледному лицу катятся крупные слезы.

— Подайте, Христа ради, — звенит детский голосок. — Подайте хлебушка, маменька помирает. Добрые люди, подайте милостыньку.

Захлебнулся слезами бедняжка, закрыл лицо руками и заплакал.

Плачут и маленькие внучата Игната, просят богатого деда помочь нищенке.

А Игнат не слышит детей. Как полотно, побледнело его лицо.

Встал он, выпрямился. Смотрит на мальчика. В глазах — смертельный испуг, губы дрожат.

— Подайте, Христа ради, милостыньку, — плачет ребенок.

Детская ручонка тянется к богатому Игнату. Страшно смотреть на Игната. Перекосился, глядит отчаянно, словно видит что-то страшное.

Вздрогнул он, и быстро ушел в избу, ничего не сказав. Испугалась вся семья. Всегда Игнат был обходителен с домашними. Что же с ним случилось?

Обласкала, накормила бедного нищенку добрая Авдотья, приласкали бедняжку и ребятишки.

Игнат и поесть не вышел. Страшный, бледный пришел он в клеть, запер дверь, сел на лавку и сжал голову руками. Долго-долго просидел так Игнат, многое передумал он.

Сидит, не шевельнется, а на лице страдание.

Словно борется с собой, словно сердце у него разрывается.

Дрожат губы, дрожит тело Игната, и тихие, светлые слезинки одна за другой катятся по седой бороде старика.

Дума за думой в голове...

Давно это было. Красив и статен был тогда Игнат. Вместо седых волос крупными кольцами вились темные кудри. Много мыслей заветных было в его горячей молодой голове. Но не любил Игнат тогда работы. Любил парень гульбу, веселье да городскую жизнь привольную. Бедно жила его семья... Игнат нанялся в приказчики, крепко сдружился с молодым и богатым купцом. Целыми днями и ночами они веселились. Забывал молодой купец и жену, и ребенка ради своего друга-приятеля. Много времени скоротали вместе.

Еще крепче сжал Игнат свою голову. Бегут думы. Вспомнилась ему темная, осенняя ночка.

Лежат в тележке два друга. Бегут серые кони. Звенит колокольчик. Молодой односельчанин-ямщик тянет заунывную песню. В тележке спит только один из спутников, другой молча лежит и думает. Много у него мыслей. Недоброе что-то в его глазах.

Пропали у пьяного купца все деньги с бумажником. Хватился через три станции и горько жаловался своему другу-приятелю.

Обвинили ямщика, обвинили и сослали. А денег не нашли. Поседел и осунулся за несколько дней бедный ямщик, со слезами оставил он жену и двух ребяток, ушел в ссылку. Долго горевал и купец. А приятель его уехал в дальнее село, понемногу начал торговлю и зажил припеваючи. Много-много времени прошло.

По миру с сумой ходят бедные дети горемычного ямщика. А там, где-то далеко, скорбит и тоскует бедный, сосланный отец несчастных детей.

Встал Игнат с места, смахнул слезы, упал на пол в своей клетушке перед маленьким образом и замер.

Целый день, как в беспамятстве, пролежал бедный Игнат. И сколько муки в сердце у него было, сколько горя он пережил, знал только Бог и он сам.

Наутро семья Игната не узнала. Словно преобразился. Объявил он семье, что решил идти в монастырь, молиться о своей грешной душе.

Как гром среди ясного неба. Опечалились, плачут. Но никто не посмел отговаривать Игната. Все знали его твердый нрав. Только его бедная жена, Авдотья, как ребенок, заголосила:

— На кого ты, голубчик, кинешь нас, горьких? Что с тобою приключилось? Али лихая болезнь, али тоска лютая? — плачет и убивается бедная женщина, обливая горькими слезами седую бороду своего старика.

Но неизменно решение Игната.

Передал он все хозяйство и мельницу сыну, обеспечил свою семью, помог устроиться бедной жене сосланного ямщика, отдал ее мальчика в школу, простился со всеми домашними и заперся в своей клетке.

Все село дивилось поступку богатого, уважаемого всеми Игната. Все хвалили его за помощь бедной семье ямщика.

«Добрый он человек и богобоязненный. Господь пошлет ему за это», — говорили про Игната на селе.

А Игнат несколько дней не выходил из клетушки и темной ночью вдруг исчез. Куда он ушел — никто не знал. В чуланчике нашли только молитвенник да кусок черствого хлеба.

Долго плакала и горевала семья Игната. Долго судачили на селе. Игната стали забывать.

Прошло несколько лет. Наступила весна. Собрались поселяне в праздничный день потолковать миром. Уселись у избы старосты, про то, про се толкуют. Вдруг все так и ахнули.словно из-под земли вырос перед ними Игнат, — вернее тень прежнего Игната. Худой, сгорбленный, страшный, в рубище, горьким взглядом смотрит он на свое село.

Прибежали родные Игната, жена-старуха, бросилась к нему. Как будто и не знает никого несчастный. Стоит, вздрагивает да что-то бормочет про себя.

Окружили Игната мужики, спрашивают.

— Православные, сжальтесь над горьким, не погубите, тяжело наказывает меня Господь, нет душе покоя, грызет меня совесть. На чужие деньги разжился я, окаянный, Я! Я! Ограбил купца и показал на ямщика невинного. Ох, тяжело душе моей. Увидел я мальчика его, нищим оборвышем, стала грызть меня совесть, пошел я в монастырь, долго нес я покаяние, мучил себя, нет мне покоя. Из-за меня, окаянного грешника, страдает в оковах невинная душа. Смилуйтесь, православные. Отдайте меня под суд, дайте душе отдохнуть. Измучила меня совесть, не могу так жить, лучше в гроб живому лечь.

Стоят мужики и молчат как убитые. Ни у кого духу не хватило казнить несчастного. Все стоят и молчат. Слезы текут по грубым, загорелым лицам. Тяжко им за исстрадавшуюся душу человеческую. А Игнат лежит, головой седой о землю бьется. Через неделю Игната увезли.

Когда надевали на него кандалы, просветлело лицо несчастного, перекрестился он и поцеловал оковы. Потом поклонился в ноги всему миру и семье ссыльного.

Унесли в избу жену и сноху Игната, ревут и причитают в селе бабы, смахивают слезы с глаз мужики.

А Игнат спокоен и тих. Улыбка не сходит с его лица. На душе у него тишина и покой. Скоро вернется к родной семье бедный ямщик. Скоро и Бог, и семья, и другие люди простят Игнату его тяжкий грех.

Посадили Игната в телегу. Звенят кандалы, а на истомленном, худом лице несчастного ясная улыбка.

Так с этой радостной улыбкой, с этим спокойным лицом ехал Игнат в вечную ссылку, навсегда

простившись с родным селом и семьей.

Далеко от родины похоронят его. Никто не оросит слезами свежей могилки. Кругом — чужие люди. Одиноким, но спокойным умрет раскаявшийся грешник. От суда Божьего никуда не уйдешь. Правда Божья — ярче солнышка.

Широки смолоду

На площади губернского города стоял большой двухэтажный дом. Все знали это здание, и если бы вы спросили про его владельца, вам назвали бы господина Гребнева, а кое-кто прибавил бы: «Захара Павловича».

Гребнев Захар Павлович — подрядчик, бравший казенные и частные подряды. Богач, у всех в почете и уважении. И заслужил: благотворитель и благожелатель, особенно любил он нищую братию. Гребнев нисколько не гордится своим богатством: он помнит, каким незначительным был приказчиком у богача-хозяина. Помнит свою трудную долю, поэтому и не забывает обездоленных.

— Хорошо тебе, вольно, Захар Павлович! — говорят Гребневу иногда друзья: гремит твое имя, денег у тебя тьма.

— А я так думаю, — отвечал Гребнев, — если Богу угодно, чтобы я был богат, так я богат и славен, а провинись я перед Ним, куда все денется? Эх, мы все про человеческое говорим, а Бога нельзя забывать, а богатым Его, иной раз и забудешь. Про себя скажу: у покойника-хозяина я на побегушках был, сутками во рту ни крохи не было, грязь, холод, ненастье терпел, трудно жилось, а Бога и тогда не забывал. Каждый воскресный день в храм Божий ходил. И хозяин, Царствие ему Небесное, благочестивый был. Бывало лентяй не пойдет к службе Божьей, а он при всех начинал его стыдить.

«Мне, — скажет, — всю неделю служил, а душе своей не хочет одного дня послужить».

Воспитывал. Тогда я помнил Бога. А как стал хозяин, там дела, тут дела, ну и пропустишь всенощную, а то и обедню.

— Ну, не про тебя это, Захар Павлович, — возражали, — без тебя, кажется, ни одной службы не проходит, за усердие тебе счастье Господь посылает. Вот и сын у тебя, Семен Захарыч, хороший, деловой парень вышел. Поэтому и хвалим. Почему не хвалить? Видим, знаем.

— А что, Захар Павлович, подряд на мосты взял? — спросил один из приятелей.

— Взял. Причем за свою цену. Как ни сбивали.

— Как так?

— Так. Его превосходительство решил отдать мне. «Гребнев сделает по совести, а других мы знаем: шпалы гнилые ставят», — сказал его превосходительство. — Не хвалясь, скажу: хоть по казенным, хоть по частным подрядам всегда по правде дело делал. Видит Бог, лучше в убыток, если сам ошибся, но сделаю качественно. Семеновские мосты два раза ремонтировали, а мой, слава Богу, стоит.

Поговорив еще о делах, приятели расстались. Захар Павлович позвал сына:

— Сеня, я еду на шоссе; там заканчивают работу, а тут, если потребуют залог, отдай все, не

хватит — возьми у Савельева, — выручит. Я его сам выручал, а теперь все деньги в обороте у тебя.

— Хорошо, сделаю, не в первый раз.

— Знаешь что, Семен Захарович, — говорил молодому Гребневу его приятель Белов. — Друзья мы с тобой с детства, а вот ты начинаешь изменять мне.

— Чем же?

— А тем, что мы вместе задумали отделиться от отцов и дело делать. Я отделился, а ты улизнул от старого друга. На первое время приходилось мне жутко, ну, а теперь ничего, живу. Сам себе слуга, а не отцу. Советую и тебе, дружище, подальше от отца, а теперь самое время удрать, благо его нет, кстати, и мосты-то ты будешь ставить.

— Мосты отец взял.

— Отец. А ты-то кто? Гребнев? Ну и бери их.

— Говорю тебе, отец их взял.

— А заклад давал?

— Заклад даст.

— Даст, а пока он соберется, подряд твой будет.

— Да как же?

— Как? А дело вместе будешь делать?

— Вместе.

— Не попятишься?

— Нет, только научи. Признаться, давно я хотел от отца отделиться, сколько ни работал на его семью, да все как-то совестно было.

— А совесть, Сеня, ныне в сторону, потому сила в кармане, а совесть ничто.

— Ну, говори: сколько надо убить в подряд денег?

— Сто тысяч.

— А закладу пятьдесят?

-Да.

— А платы за подряд сто двадцать пять?

-Да.

— Значит, двадцать пять тысяч чистая выручка, да в запасе пятьдесят? Так?

— Так.

— А у отца велика казна?

— Да тебе на что?

— А ты слушай: хоть и знаешь пятую заповедь, но и одиннадцатую не забывай. Так, сколько у папеньки?

— На руках ничего.

— Стало быть, у тебя? Сколько?

— Пол сотни есть.

— Слушай: завтра я заявлю, что мосты сделаю за сто тысяч и закладу даю сто, выходит, казне даю двадцать пять барышу.

— Что ж? Хочешь отбить подряд? Нет, брат, Гребневы этого не допустят.

— Ха-ха-ха! Струсил? Э-эхма! А еще уговор держим! Ведь это будет подвод один. Правление не захочет Гребнева обидеть; ну и призовут тебя и скажут: «Так и так: за подряд дешевле берут». А ты скажи: как угодно, мол, будет вам, а только за подряд я не возьму копеейкой дешевле, потому знаем, сколько он стоит; а что касается залога, извольте получить, вот и оставят за тобой, а ты сейчас же заключаай контракт на свое имя; понял?

— Понять-то понял, да заклад отдашь, а там с двадцатью пятью-то дела не сделаешь.

— А разве Старов не даст? Возьми на отца; вот и ладно. Только, брат, знаешь, я тебя научил оборудовать дельце, а ты уж и мне помоги: ты меня порекомендуй превосходительному, я возьму постановку шпал на новую дорогу, работа вместе и барыш пополам, согласен?

— Идет.

— Давай руку. Так-то лучше, чем из папенькиных ручек смотреть.

Много колебался Гребнев-сын, совесть останавливала его идти против отца.

«Бог не благословит моих дел, — думал он, — если я сделаю, как советует мне товарищ».

— Дай подумать, — сказал он Белову.

Но грех силен. Жизнь самостоятельная, без зависимости от отца, соблазнила его: «Да что же, разве я первый и последний так поступаю? Вот Белов отделился же от отца и живет недурно да надеется еще на лучшее».

— Ну, что же, надумал? — спросил на другой день Гребнева Белов.

— Нет, боязно и грешно, — сказал Гребнев.

— Что же, в самом деле, один, что ли, ты так сделаешь? Делают и другие. Да смотри-ка, еще как живут, благоденствуют.

Поколебался Гребнев, но согласился и сделал по совету Белова.

Сказано — сделано: Гребнев-сын обокрал отца.

— Что же это? Кровь на кровь восстала, — говорил старик Гребнев своей плачущей жене. — Для него я не пожалел бы половину капитала, а то убежал, обокрал, под отцовское имя людей обманул. Стыд-то какой! Старика-отца и мать не пожалел, хотя бы братьев да сестер пожалел. Неужели греха не боятся нынешние дети? Отбил подряд, сманил хороших мастеров, артель расстроил, за что? Эх, Сеня, Сеня. Бога ты не боишься.

— Бог с ним, Павлыч: не кляни только его, а у нас пока есть, слава Богу, как-нибудь и сами проживем, и детишек вырастим; только не кляни Семена.

— Не кляни. Да я, что же, кровопивец, что ли какой? Он сын мне, кровь от крови моей, у меня язык не повернется клясть его. Бог с ним. Только вот что не хорошо: восстала кровь на кровь, — добру не бывать. Но я выпью эту чашу, если это угодно Господу.

Старику Гребневу пришлось еще раз вынести тяжелое огорчение. Сын отбил у него во второй раз большие подряды; набил цену на одно дело, старик погорячился, зарвался и взял дело не по силам и не по расчету. Это дело совсем разорило старика.

Гребнев снес бы разорение, но он не мог стерпеть того, что работу казенную он не исполнил, это касалось его чести. Друзья, как могли, выручили Гребнева, но, чтобы закончить дело, надо было еще тысяч пятнадцать, а у Гребнева уж и дом был заложен.

«Что делать? Позор! Честь моя, имя мое — все пропадает! Сеня! Сын! — Старик совсем потерял рассудок. — Вот что: поеду-ка я к нему, сыну моему, Семену Захарычу Гребневу, и буду просить у него».

Отец поехал к сыну, с которым расстался пять лет назад и который из-за денег не побоялся разорить родного отца.

— Сегодня заняты Семен Захарович, пожалуйста завтра, — сказал слуга сына отцу.

— Скажи твоему барину, что я не уйду.

— Что же, Сеня, аль отцу твоему места нет в твоём доме? — сказал отец, входя в роскошный кабинет сына.

— Вы по какому делу, Захар Павлович?

— Вот как. Из отца да в Захара Павловича произведен. Ничего, чином выше стал. Ну, хорошо и так, Семен Захарович. Так я вот по какому делу: ты меня разорил, ты и выручай.

— Чем могу служить вам?

— А послужи ты мне, старику, вот чем: дай за прежнюю хлеб-соль тысчонок пятнадцать.

— А чем вы меня обеспечите?

— Чем обеспечу? Да возьми меня, старика, в работники, мать-старуху — в кухарки, братишек да сестренку — куда изволишь определить. Хорошо обеспечение? А? Ха-ха-ха! Довольны вашей милостью, — ответил отец, и, шатаясь, едва вышел из дома сына.

— Вас, Захар Павлович, спрашивают, — сказал Гребневу-старшему приказчик.

— Никого не надо.

— Уж очень просит. Говорит: Захар Павлович меня знает.

— Да кто такой?

— Ковылин.

— А! Зови.

Вошел добродушный старичок.

— Мое почтение Захару Павловичу.

— Здорово, старый друг! Вспомнил? Далеко ехал?

— Прямо к вам: слышал я, что сынок-то вас покинул.

— Ну да, обокрал, разорил.

— Не обессудьте, Захар Павлович, чем богат, тем и рад: вот тут тридцать тысяч будет, так уж примите.

— Ковылин, смеешься над стариком?

— Помилуй Бог! Зачем смеяться! Я отдаю должное: помните, как десять тысяч поверили мне на слово; вот я отдаю с процентами за десять лет; пять за процент, а пятнадцать остальные в заимообраз, а смеяться зачем? Помню старое добро.

— Если правда, не смеешься, спасибо.

Гребнев, рыдая, обнял старого друга...

Старики поговорили по душам. Угостил Гребнев Ковылина, а на прощанье сказал:

— Ну, Бог видит и знает добрых людей; спасибо! Не забуду вовек: ты меня спас.

Прошло два года. Судьба двух известных домов Гребневых изменилась. Гребнев-отец, едва не разорившийся, снова гремел своим умом, честью и богатством, Гребнев-сын разорился. Открылись такие делишки, за которые Гребнев-сын угодил в тюрьму, и ему перестали доверять. И вскоре про Гребнева-сына все забыли. Не забыл сына только отец. Захар Павлович все знал, и больно, и горько было ему, что родной его сын обесчестил себя.

«Эх! Пропал, погиб, — думал однажды Захар Павлович. — А к отцу не обратится, думает, что и я ему отвечу так же, как ответил он мне тогда. Нет, Сеня, — обращался мысленно старик к сыну, — нет, родительское сердце, как воск, несчастье детей полымем жжет его, от себя ты погиб да от злых людей, а мне жаль тебя, жаль твою неповинную жену, твоих малышей, моих внучат».

Захар Павлович позвал своего верного приказчика-старика.

— Возьми: тут тысяча рублей, отдай Семеновой жене, скажи ей, чтобы мужа ко мне привела, все дам, внучат вели целовать, понял?

Старый слуга кивнул и скрылся. Через день он вернулся.

— Ну, что? Как? — встретил его Гребнев.

— Плохо, Захар Павлович! Спился, жену с детками жаль. Меня он выгнал.

— Как? За что?

— Убирайтесь, говорит, вы со своей помощью. И в шею меня. Ребятишки уцепились, жена несчастная так и закричала, а он ее тут же на моих глазах и прибил. Я дождался, как он гулять ушел, отдал ваш дар, а невестка-то ваша, сердечная, так и зарыдала: «В ножки, — говорит, — поклонись тятеньке, маменьке и скажи им, что я не виновата. Я и тогда отговаривала его и приехать повидаться хотела, да он не пустил».

— Ну, ладно, старик, никому ни слова.

— Да и так все знают, что Гребнев-сын в тюрьме сидел, промотал все, спился, а коли молчат, так из уважения к вашей милости. Эх, Захар Павлович. И за что такое наказание нам от Бога? Кажется, по-Божески жили.

— Молчи, Трифоныч, грех роптать, за грехи мои наказание мне, а сыну наука, наука и другим: пусть на сыне моем поучатся, как без родительского благословения жить, как стариков-родителей покидать и против них восставать. Смолodu они широки. Но я не брошу Семена. Кровь за кровь вступится: я спасу его.

— Золотое сердце у вас, Захар Павлович!

Гребневы отец и сын снова ведут дела вместе, и сын во всем повинуется отцу. Отец никогда не напоминает о былом, а сын постоянно помнит свою вину и старается загладить ее трудолюбием и лаской к отцу, матери, братьям и сестрам.

Перевозчик

К маленькой рыбацкой избенке, одиноко стоявшей на берегу судоходной реки, подъехал тарантас. Крестьясь и охая, кто-то вылез из повозки и, тяжело шлепая по лужам, подошел к окну, где светился огонек. Проезжий постучался.

Калитка отворилась:

— Переправа здесь?

— Здесь-то здесь, да разве в такую пору беспокоят добрых людей, почтенный? Не перевозят в такую погоду.

— Извините, голубчик, я не здешний; порядков не знаю, но очень тороплюсь. Перевези, любезный, вдесятеро заплачу, — добродушно отвечал проезжий.

— Ладно,, входите, вот сыновья вернутся, перевезем, — заявил перевозчик Матвей, который, надо сказать, богатых людей уважал больше всего и, услышав, что заплатят вдесятеро, подумал, что приезжий, видимо, богач.

Приезжий купец привязал к воротам лошадь и вошел в избенку вслед за перевозчиком. В его руках, кроме маленького чемоданчика, не было ничего.

— Откуда будете, ваша милость? — любопытствовал Матвей.

— Издалека. В Москву еду, тороплюсь, дома свадьба — дочь выдаю, за приданым вот теперь тороплюсь, и товару прихватить надо, — добродушно пояснял проезжий.

— Да, такое дело. Деньги на все надо, — процедил сквозь зубы Матвей, покосившись на чемоданчик, который купец не выпускал из рук.

— Без денег ничего не поделаешь, — согласился купец.

— Ну, а лошадь-то своя? — продолжал расспрашивать Матвей.

— Своя. Горяча больно, бойка; просто бедовая. Думаю сбыть ее в Москве, по железной дороге ее отвезу туда. А скоро у тебя сыновья-то придут? — спросил вдруг проезжий.

— Скоро-скоро. Пойдемте на паром, лошадь привяжем, все такое, а за сыновьями я сам схожу, если вовремя не подойдут. До села недалеко, — продолжал Матвей.

Проезжий согласился.

Отправились к реке. Матвей вел за поводы горячего коня. Купец сидел в тарантасе, сокрушаясь, что погода ненастная.

— Фонарь надо было тебе взять, любезный, — сказал проезжий, когда лошадь споткнулась о какую-то корягу.

— Ничего, ваша милость, я дорогу найду, а эту корягу я наизусть знаю, — успокаивал Матвей.

И действительно, вскоре перевозчик с проезжим благополучно добрались до реки.

Кипели и шумели могучие волны, с ревом разбиваясь о бока стоявшего у берега парома. Скрипело, дрожало под напором разгулявшейся стихии судно, которое еле-еле можно было заметить в ночной темноте.

— Может, до утра отложим? Погода больно разгулялась, — в раздумье проговорил купец, прислушиваясь к реву ветра и плеску волн.

— Ничего — прорвемся. Сыновья у меня здоровые молодцы, и реку как свои пять пальцев знаем. Переедем, — успокаивал Матвей проезжего.

— Ну, и ладно, очень уж я тороплюсь на поезд: переедем с Божьей помощью, — сказал купец, вылезая из тарантаса.

— Переедем, — как-то неприятно засмеялся Матвей и, взяв за повод упиравшуюся лошадь, он повел ее по подмосткам на паром. Через минуту он вернулся.

— Ваша милость, посмотрите, хорошо я коня привязал? — обратился Матвей к купцу.

Тот направился за перевозчиком. На мостках Матвей остановился.

— Скользко тут, держитесь за меня, ваша милость, давайте руку. Не ровен час — в темноте-то и упасть можно.

Матвей протянул проезжему руку. Тот, шагнув поближе к перевозчику хотел взяться за его руку. Но схватил пустоту и с криком полетел в реку. Еще раз слабо крикнул, захлебываясь, и — замолк навеки. А на мостках с маленьким чемоданчиком в руках остался один перевозчик

Матвей.

Но еще не все было сделано. Тряхнув головой, словно желая отогнать непрошенные мысли, Матвей зашел на паром и свел лошадь обратно на берег. Взял ее под узды, провел вместе с тарантасом недалеко по берегу и, выбрав место, где был откос, отвел в сторону на несколько шагов, взял кнут и изо всех сил принялся хлестать бедного коня. Тот взвился, бросился вперед, и все было кончено.

Большой каменный дом среди незавидных избенок села Вощинина, показывал, что хозяин его богаче остальных мужичков. Действительно, Матвей Иванович, торговец мелким товаром и дровами, был одним из самых богатых и уважаемых вощининских мужичков.

Два десятка лет тому назад он держал на реке паром, но почему-то бросил его и открыл лавку. Расторговался, дом выстроил каменный, капитал, говорят, немалый нажил и обоих сыновей женил на богатых невестах.

Торговал Матвей Иванович добросовестно, лишнего не брал, и мужики за это уважали старика. Год назад он поручил сыновьям торговлю дровами, потратив на начало этого предприятия чуть ли не весь свой капитал. Сыновьям было уже по сорок лет, так что ему самому можно было и отдохнуть от хлопот. Да и прихварывал частенько старик в последнее время, не до торговли тут. Жил старик в почете и довольстве, молился Богу, милостыню бедным подавал и вообще о душе своей заботился.

Только — странное дело — никогда и никто его не видел веселым, никто не видел улыбки на сморщенном старческом лице:

— Строгий человек, Матвей Иваныч-то, о мирском ни о чем не думает, живет по-Божьи, и на лице у него это и написано, — говорили одни. — О душе своей заботится, Богу молится и бедным много подает, а чтобы насчет взяток или жадности, Матвей Иванович — ни-ни! Святой человек — одно слово! И пасмурен от этого, что думает не о том, о чем мы, грешные. Лукавыми помыслами не тешится, — толковали другие.

Разговоры о причинах невеселого выражения на лице старика сводились к тому, что «о душе он заботится, не до смеха ему».

Каждый год бывают ненастные осенние ночи, и каждый год страдает Матвей Иванович в непогоду. Не спится старику ни днем, ни ночью, а на вопросы домашних отвечает:

— Спину ломит. Видишь, погоду-то Господь какую послал. Косточки все мозжат.

В одну из таких ночей особенно не спалось старику. Несмотря на поздний час, он с кряхтением ходил из угла в угол по своей маленькой комнатке, прислушиваясь к стуку ставней и порывам ветра. Тяжело вздыхал старик. Видно, бессонница да непогода и впрямь его измучили.

Вдруг донесшийся до него слабый стук в кольцо калитки заставил его остановиться и прислушаться.

«Кто бы это мог быть в такую пору?» — подумал он.

Стук снова повторился.

«Видимо, горемыка какой-нибудь заблудился и увидел мой огонек».

Старик неторопливо вышел во двор, отпер калитку и позвал неожиданного гостя в дом, услышав просьбу о ночлеге.

— Тише только, родной, у меня уже спят все. Иди за мной, держись. Бабы народ беспокойный, сейчас услышат, явятся. Идем ко мне в комнатку.

И, открыв дверь, старик впустил гостя. Свет от стенной лампы осветил его поношенный мокрый кафтан и открытое, добродушное лицо. Посмотрел на гостя Матвей Иванович и откинулся назад, схватившись за голову руками. Гость, с выражением сильного удивления, смотрел на старика, очевидно, не понимая, отчего тот так испугался его.

Прошло несколько минут. Старик оправился.

— Ох, старость, старость, — качая седой головой, проговорил он, обращаясь к гостю. — Слаб я очень стал, чуть что к погоде, так и разбивает всего. Бот и теперь в глазах затуманилось. Старость, старость. Откуда путь-то держите?

— Из Москвы еду, с сестрой повидаться, к матери на могилку сходить. Давно дома не был.

— Сестра замужняя у вас? — спросил Матвей Иванович и закашлялся.

— Нет! Куда нам, голышам. Было время — хорошего человека ей нашли, да не привелось. В девках век доживает, теперь уже под сорок ей. Мне тоже тридцать с лишним, недавно в приказчики в Москве выбился. Отец без вести пропал, а с ним и капитал весь. Что толковать: матушка вот не вынесла — умерла. Что поделаешь — воля Божья. Прежде мы, Силкины, первые богачи в округе были, а теперь... — и прохожий тяжело вздохнул.

Очевидно, рассказывать ему было тяжело.

Несколько минут длилось молчание. Заговорил опять Силкин:

— Я только что с поезда, переехал через реку, увидел у вас огонек — думаю, не пустят ли переночевать, потому что в такую погоду идти за восемьдесят верст трудновато. Смилуйтесь.

Матвей Иванович засуетился.

— Я сейчас. Располагайтесь, как дома. Сейчас поужинать велю подать, закусите, чем Бог послал. Вот сюда, в передний угол — милости прошу.

Вышел Матвей Иванович чуть не бегом и через минуту вернулся, принес с собою закусить, что осталось от ужина, и поставил все это перед Силкиным.

Пока тот ужинал, Матвей Иванович возился около большого сундука, служившего ему постелью, утирая рукой вспотевшее лицо, и как-то робко смотрел на прохожего, ужинавшего с большим аппетитом. Закончив ужин и поблагодарив радушного хозяина, Силкин, по приглашению Матвея Ивановича, улегся спать на широкой скамье в углу комнатки и скоро заснул богатырским сном. Матвей Иванович погасил огонь и тоже улегся, но ему что-то не спалось. Долго ворочался он с боку на бок, покашливая и шепча молитву да прислушиваясь к здоровому храпению нежданного гостя.

Чуть только забрезжило, проснулся выспавшийся Силкин. Матвей Иванович уже давно был на ногах и с кряхтеньем ходил по комнате. Стал Силкин благодарить его за хлеб, за соль, за ночлег, а Матвей Иванович отнекивается:

— И не говори. Не за что благодарить, и не люблю я этого. Лошади у крыльца ждут. Мне это ничего не стоит, не благодари, пожалуйста, только...

— Да за что мне это... как же не поблагодарить? — удивленно спросил Силкин, не зная, что и думать.

— Ну, вот так... Чего допрашиваешь? — сердито проворчал Матвей Иванович.

Вошел старший сын Матвея Ивановича — Михаил.

— Батюшка, беда у нас, — испуганно сказал он. — Склады наши дровяные почти все до одного сгорели.

— Что ж, Божья воля. Пойди, распорядись, Михайлушка. Я надеюсь, что ты маху не дашь. Ну, да если осилить нельзя будет огня, так говорю — Божья воля: Он даст, Он же и возьмет.

Старик тяжело вздохнул. Сын вышел.

— Ну, прощай, гость дорогой. — сказал Матвей Иванович. — Вот от меня гостинец тебе на память, не поминай лихом, и пока домой не приедешь, — не заглядывай, не старайся узнать, что там.

И с этими словами подал Матвей Иванович Силкину небольшой, завернутый в холст, узелок, туго перевязанный веревками.

Взял Силкин гостинец, поблагодарил и вышел за ворота. Пара добрых лошадей уже поджидали седока, и через минуту колокольчик залился под дугой, зашлепали по лужам колеса, полетели комья грязи из-под копыт лошадей.

А Матвей Иванович еще долго стоял в воротах, провожая взглядом гостя, и только когда замер последний звук колокольчика, ушел в свою комнатку, опустил на грудь седую голову.

— Что это батюшка так долго не показывается? Тихо у него, неужели спит еще? — спрашивала на утро следующего дня жена Михаила.

— Дело стариновское, может, и спит еще, — угрюмо отвечал тот, занятый мыслями о вчерашнем пожаре дровяных складов, отстоять которые не удалось, так что значительный убыток, нанесенный этим пожаром, грозил чуть ли не нищетой богатому дому Матвея Ивановича, если только у последнего не было кое-чего припрятано на «черный день».

Прошло еще несколько часов, а из комнатки старика, встававшего обычно раньше света, ни слуху ни духу. Заглянули — пусто. Видит вдруг Михаил — на столе клочок бумажки. Весь исписан отцовской рукой. Прочел Михаил, побледнел, вздохнул, велел позвать второго брата. Дал ему прочитать, а женам велел убратъся.

«Любезные дети, вчера у меня, по Божьей воле, был сын одного купца, — Силкин. Его отца лет двадцать тому назад я ограбил и толкнул в реку. Денег было двадцать тысяч, я нажил вдвое, но одна половина пошла на торговлю дровами, а другую я отдал с запиской обо всем ему, Силкину, чтобы загладить хотя бы сотую часть моего тяжкого греха. Больше у меня нет. Наживайте, детушки, сами, да не так, как я нажил, — совесть замучит с чужим богатством. Я же под конец жизни буду замаливать свой грех, забудьте, что я вам отец».

Говорят, что старик ушел куда-то в скит, надеясь замолить там свой тяжкий грех. Оставшись

без денег, сыновья взялись за обыкновенную крестьянскую работу, и может быть, у них будет честно заработанный, трудовой кусок хлеба, который человеку со спокойной совестью в тысячу раз приятнее, чем изысканная пища богача с нечистой совестью. Да, тяжело платят люди за свои грехи, и платят душевной болью. Поверьте, лучше себе руки и ноги отрезать, чем жить с таким грузом. Не дай Бог!

Сон богатея

На берегу рыбной речки, со странным и вкусным для любителя рыбки названием Хвост, раскинулось небогатое село Дубки. Почему — «Дубки»? Ответить не беремся — ни одного деревца в селе и окрестностях нет. Русь всегда была богата на все немножко несуразное и веселое. Хотя это веселье иногда бывает и со смыслом. Впрочем, давным-давно, так давно, что даже столетний дедушка Каллистрат не помнит, был здесь непроходимый лес.

Народ в селе богобоязненный, трудолюбивый, но бедный. Перебиваются, как говорится, с хлеба на квас.

Были в этом селе священник, дьячок, староста, писарь, свой богач Парамон Арефьевич: в общем — все было.

Парамон Арефьевич, как и полагается богачу, любил только деньги. Оберет живого и мертвого и монеты в сундук складывает. Скорее камень расплатится, чем Ануфриев прослезится.

Ануфриев приехал в Дубки еще молодым, открыл, естественно, кабак. Откуда прибыл, где жил до этого и чем занимался, никто не знал, по документам он значился мещанином соседнего губернского города.

Денег у него было немного, но дела пошли хорошо. Брал он со всех так усердно, что начал богатеть не по дням, а по часам.

От одной торговли вином он не смог бы так разбогатеть, потому что дубковские были не из богатых. Наживался он тем, что давал деньги в рост и брал за это кабальные проценты.

Первые годы он вел дела один и держал в помощниках только старика с дочерью, а потом, не успевая, взял приказчика — родного племянника, которому рядом со своим домом выстроил из старых гнилых бревен не то избушку, не то землянку.

Племянник — Сергей Беляев — сын родной сестры, был добрый, честный и трудолюбивый человек, но ему совсем ни в чем не везло, так что, перед тем как поступить на службу к дяде, он со своей семьей чуть не умер от голода. А семья у него была немаленькая: жена, сестра жены — болезненная девушка лет семнадцати — и трое детей. Старшему было только пять лет.

«Добрый» дядя узнал о бедственном положении своих родственников и с выгодой для себя предложил ему поступить к нему приказчиком. Обещал дать помещение и пять рублей в месяц.

На таких условиях никто бы не пошел к нему — не то что приказчиком, а даже и простым работником, так как пять рублей в месяц — это ничто, но Сергею ли выбирать? У него в доме корки хлеба не было. Волей-неволей пришлось согласиться на дядины условия.

Переехал Сергей в Дубки со своей семьей. Поселился в хижине и принялся за работу со всем усердием. Не спал ночей, чтобы угодить дяде-хозяину, и работал действительно за десятерых, но это нисколько не трогало Ануфриева. За все десять лет, которые проработал у него племянник, он не слышал от него ни одного ласкового слова, не видел ни одной улыбки, о

прибавке жалованья и говорить нечего, тот только и норовил — как бы еще что-нибудь вычестить у племянника из его грошей.

Был бы Сергей был половчее, давно бы заставил платить себе побольше, и Ануфриев согласился бы, так как без племянника он остался бы как без рук. Но Сергей молчал о прибавке.

Так и жили дядя с племянником долгие годы: дядя богател, жил в довольстве и благополучии, правда, одинокий, как перст, а племянник в горькой бедности, впроголодь, но окруженный любящей семьей.

Но как ни горько было житье Сергея, вряд ли кто пожелал бы стать на место Ануфриева — плохо быть угрюмым одиноким человеком. Но Ануфриев не замечал этого, не тяготился своим одиночеством. Казалось, что в нем умерло все человеческое. Как будто в сундук превратился.

Страстная Суббота. На дворе уже стемнело.

В кабаке за стойкой сидел толстый лысый Ануфриев и просматривал счета. Сергей в уголке, на конторке, подсчитывал итоги в толстой шнурованной книге.

Работы было много, с самого утра кабак был битком набит крестьянами: кто приходил вина купить к завтрашнему дню, кто денег занять. Только когда совсем уже стемнело и кабак опустел Ануфриев с своим приказчиком принялся приводить в порядок счета.

Тишина, только слышен скрип старого пера и стук костей на счетах.

— Скоро ли? — спросил Парамон Арефьевич племянника своим обыкновенным суровым тоном.

— К заутрене закончу, раньше не успеешь, — отвечал тот почтительно.

— Ну, смотри, чтобы закончил непременно, а то завтра, небось, не станешь работать?

— Завтра такой день — птица и гнезда не вьет... привставая, произнес Сергей.

— Птица не вьет! Посмотришь на тебя — чистый праведник, прямо в Царство Небесное попадешь. А на деле только праздники справлять умеешь. Ну, да ладно — так и быть: завтрашний день гуляй, а послезавтра — за дело! — закончил Ануфриев и, убрав бумаги, которые лежали перед ним, в боковой карман своего долгополого сюртука, поднялся с места. — Когда закончишь, дверь хорошенько запри и ключ заberi, — добавил он с порога и затем, даже не кивнув племяннику, скрылся за дверью.

Парамон Арефьевич пересек двор, поднялся по лестнице в свой дом и вошел в спальню, где ярко горела перед образами большая неугасимая лампада. Свет от нее был так силен, что не требовалось никакого другого освещения. Прежде всего он плотно запер дверь, затем пощупал тяжелые железные болты ставен, подозрительно осмотрел всю комнату, даже под деревянную кровать заглянул — и, успокоившись, вытащил из жилетного кармана ключ, отпер сундук, швырнул в него толстую пачку денег, опять запер и начал раздеваться. Сняв сюртук, он вдруг остановился в нерешительности.

«Нет, не буду раздеваться, — а то, пожалуй, заутреню просплю, народ скажет, что я в Бога не верю, в церковь не хожу».

И с этими мыслями Ануфриев, три раза перекрестившись, опустился на перину.

Совесть его была спокойна, потому что не прошло и пяти минут, как он уже сладко спал. О племяннике и его семье, о том, что им, пожалуй, разговеться будет нечем, он и не подумал перед сном, он даже забыл об их существовании.

А Сергей скрипел пером и щелкал счетами до десяти часов вечера.

Закончив, он бережно закрыл книгу, встал, с наслаждением потянулся, расправляя спину, но вдруг, вспомнив, что скоро заблаговестят к заутрене, поспешно схватил картуз и, забыв запереть дверь (такая неаккуратность случилась с ним первый раз в жизни), побежал домой.

Хотя было грязно и холодно, но Сергей бежал, не замечая этих неприятностей, с радостным лицом, заранее наслаждаясь мыслью о том, как он проведет светлый праздник в кругу своей семьи.

Едва он вошел во двор, как его уже заметила стоявшая у ворот сестра жены и бросилась в лачугу с радостным криком:

— Сергей Ильич идет! Сергей Ильич идет!

Из лачуги кубарем вылетел мальчуган, старший сын Сергея, и с разбега бросился к нему на шею.

Сергей подхватил его на руки и вприпрыжку добежал до двери, спустил у двери мальчика на землю и переступил порог. Жена и все домашние ждали только его, чтобы идти к светлой заутрене.

Через пять минут семья Беляевых была уже на пути в церковь.

Ануфриев спал. Храп его слышен был в соседнем селе. Долго ли он спал, неизвестно, как вдруг он почувствовал, будто его стукнули, да так сильно, что даже ребра затрещали. Ануфриев испуганно открыл глаза и увидел странную полупрозрачную фигуру завернутую в белое покрывало. Ануфриев раскрыв рот, смотрел на таинственного гостя, стоявшего над ним, потом, мало-помалу, он стал приходить в себя, принялся протирать глаза, но как он их ни тер, а приведение не исчезало.

Ануфриев был не робкого десятка и не верил ни во что сверхъестественное, но тут все-таки струсил.

— Господи, да что же это такое! — воскликнул он и перекрестился.

Но привидение только улыбнулось и сказала:

— Ты напрасно крестишь меня, я послан к тебе Богом и, следовательно, креста не боюсь.

Ануфриев рассмотрел лицо говорившего: оно было не молодо, не старо, по нему нельзя было судить, принадлежит ли оно мужчине или женщине, но лицо это было чрезвычайно строго, выразительно, и вместе с тем, красиво и приятно.

При звуках его голоса Ануфриев почувствовал, как волосы на его голове зашевелились, а на теле выступил холодный пот, и он снова перекрестился.

— Я послан к тебе накануне праздника, чтобы показать, что с тобой случится в течение этого года. Хочешь видеть свое будущее?

— Хочу, — отвечал Ануфриев глухим голосом.

— Дай мне руку, пойдем.

Ануфриев протянул руку и очутился на улице.

На улице был день, гудели колокола, в воздухе пели птички и пахло цветами. Праздничный народ ходил туда-сюда, здороваясь и христосуясь.

— Что это такое? Разве Светлое Воскресение уже наступило? — воскликнул ошеломленный Ануфриев, обращаясь к привидению.

— Нет, я показываю тебе завтрашний день. Смотри, может узнаешь кого-нибудь из знакомых?

Ануфриев стал всматриваться и сейчас же узнал всех, кто проходил мимо него, это были жители Дубков.

Всматриваясь в толпу, он вдруг увидел себя, важно шедшим посередине улицы. Все встречные снимали перед ним шапки и почтительно низко кланялись. Он отвечал небрежным кивком головы и только перед некоторыми, одетыми более богато, чуть-чуть приподнимал картуз.

В первую минуту он сам себе очень понравился, но позже ему что-то больно-больно кольнуло сердце.

Что же так больно поразило Ануфриева? А то, что он вдруг заметил: что при встрече с ним радостные лица вдруг изменялись, становились грустными, испуганными, но как только он проходил, улыбка снова появлялась на угрюмых лицах. Все в этот день встречались как родные, любимые братья, и только его одного никто не приветствовал, не высказывал ему своих пожеланий, а дети, мало того, разбегались в стороны при его приближении.

— Пойдем за тобой и станем смотреть, что ты будешь делать в этот день, — произнесло привидение, дотрагиваясь до плеча Ануфриева.

— Нет, нет! Не хочу!

— Почему же?

— Не хочу, я и без того знаю, что буду делать, — ответил он, опуская глаза и краснея в первый раз в жизни. — Спасибо тебе, что ты показал мне самого себя. Я изменюсь! Я не буду таким, каким я был до сих пор. Я буду добрым. Я только теперь понял, каким злым человеком был я, — бессвязно лепетал Ануфриев, чувствуя, как боль в сердце все усиливается.

— Куда же ты хочешь идти? — спросил призрак.

— Домой, домой! Никуда не хочу!

— Нет, я тебе советую посмотреть на людей, может быть, ты увидишь еще много интересного.

— Ну, хорошо, води меня куда хочешь, — сказал Ануфриев.

Он почувствовал, что поднимается над землей и летит, секунда, две, и они снова опустились на землю.

Ануфриев огляделся и увидел, что они стоят у крайней избы села, где жил самый бедный

мужик из всех дубковских обывателей — Касьян.

— Войдем в избу, — сказал призрак, и они очутились в темной, переполненной дымом, с обвисшим потолком, клетушке.

Касьян сидел за пустым столом и, опустив голову на руки, тяжело задумался. Жена его, худая, болезненная, изнуренная работой женщина с заплаканным лицом, качала люльку, в которой плакал грудной голодный ребенок: молоко от бескормицы у жены Касьяна почти пропало.

В избе царила полнейшая тишина, прерываемая только плачем ребенка; наконец женщина, сквозь всхлипывания, заговорила:

— И за что Господь наказывает. Одним много всего, а другим нет ничего.

— Не грехи, жена, — строго перебил ее муж. — Его святая воля: не дает — значит, так надо.

Женщина сразу смолкла и даже перекрестилась.

— Сходил бы ты хоть к Ануфриеву — хоть хлеба бы выпросил, ведь второй день голодные сидим. Авось даст к празднику.

— Ходил вчера, не дает. Говорит: «За тобой и так много!» — мрачно ответил Касьян.

— Тятя, хлеба! — жалобным голосом воскликнул старший ребенок.

— Потерпи, сынок, потерпи — к вечеру принесу, — успокаивал его отец.

Ануфриев почувствовал, как еще более стало ныть его сердце, и вдобавок ему стало стыдно за себя и жалко Касьяна. Чего бы он только ни дал, чтобы этого не было, чтобы он мог сейчас же вынуть кошелек с деньгами и отдать его Касьяну, но сделать это было невозможно.

Он стал тянуть за руку своего проводника, но тот не трогался с места, и Ануфриев поневоле должен был стоять, смотреть и каяться.

Едва ребенок смолк, успокоенный обещанием отца, что к вечеру будет хлеб, как на пороге показалась сестра жены Сергея.

— С праздником! — весело воскликнула она. — Христос Воскресе! — И она, перецеловавшись со всеми, поставила на стол небольшую корзину, постепенно выложила оттуда с десяток красных яиц, кусочек жареной баранины, чашку творога и половину каравай черного хлеба.

— Это вам Сергей Ильич прислал вместо красного яичка, — сказала она.

Надо было видеть радость детей и бедной жены Касьяна при виде всех этих вещей.

Один только Касьян, по-видимому, не обрадовался.

— Зачем это Сергей Ильич беспокоится — сам бедный, а еще с другими делится. Совестно и брать-то, а делать нечего — второй день не ели, — сказал он.

— Пойдем, пойдем отсюда, я не хочу здесь оставаться больше, — зашептал Ануфриев, чувствуя, что в его сердце втыкают ножи.

Они понеслись.

Не станем рассказывать подробно, что ему призрак показал. Упомянем только в нескольких словах, что он, Ануфриев, после этого видел.

Он видел семью своего племянника, которые согласившись поделить с разговеньем с Касьяном, сами разговелись впроголодь, но были веселы и ласковы друг с другом. Он видел много семейств, где все были веселы и довольны, но нигде никто не поминал его добрым словом. Всюду, если кто вспоминал о нем, то бранью, как о человеке неприятном.

Он видел, как Сергей умер от чахотки из-за непосильной работы, и его семья пошла по миру, и многое еще, что кололо, резало и жгло Ануфриева. В конце концов, призрак показал ему, как он лежал при смерти, в своем доме, как никого вокруг не было, как некому было подать ему напиток, как никто не приходил навестить его и как, наконец, он умер в страшных мучениях, без церковного покаяния, так как некому было сходить за священником.

— Теперь ты видел все! — вымолвило привидение поледеневшему от ужаса Ануфриеву. — Вернемся к тебе.

— И неужели это я свою судьбу видел? Неужели все так и будет? Неужели я не смогу раскаяться и постараться загладить свои прежние грехи? Я ошибался, думая, что самое лучшее — заботиться только о себе, теперь я вижу, что высшее наслаждение — это заботиться о других, помогать ближним, — воскликнул Ануфриев в отчаянии, обращаясь к духу.

— Нет, если бы ты изменился и повел другую жизнь — жизнь чистого и доброго христианина, — то и все будущее — и твое, и окружающих тебя — изменилось бы, но теперь тебе пора домой, — отвечал призрак.

Ануфриев почувствовал, как они понеслись с ужасающей быстротой, и через секунду он стукнулся о свою кровать, стукнулся так, что все косточки затрещали.

Он невольно вскочил от боли. Протер глаза.

Оказалось, что он лежит на полу около своей кровати. В первую минуту он ничего не мог сообразить и блуждающим взглядом осматривал свою комнату. Все было на своем месте, даже его длиннополый сюртук лежал на табурете. Сквозь щели ставней пробивались лучи восходящего солнца.

Тут только Ануфриев понял, что видел все это во сне.

— Ну и сон же, однако! Сон! — вслух сказал Ануфриев и поднялся с пола.

Через минуту он привел себя в порядок: умылся, причесался, на коленях усердно помолился Богу, открыл ставни, и в окно веселым голосом позвал своего работника.

Почтенный старик явился на этот зов и остановился у притолоки, ожидая, что хозяин или даст ему нагоняй, или прикажет что-нибудь сделать, да еще невыполнимое, но Ануфриев подошел к нему и воскликнул:

— Христос Воскресе, Иван!

— Воистину Воскресе! — ответил тот удивленно.

Они облобызались, и Ануфриев сунул своему верному слуге в руку десятирублевую бумажку.

— Вот тебе вместо красного яичка — красную бумажку, — воскликнул он и расхохотался самым добродушным смехом, заметив изумленное лицо старика.

Только когда он увидел это лицо и когда искренне рассмеялся, Ануфриев понял, как приятно делать добро.

— А теперь, — продолжил он, — собирай все наше разговенье, позови еще кого-нибудь и тащи все к Сергею Ильичу.

Нужно ли досказывать нашу историю? Ануфриев из человека жестокосердного превратился в ангела-хранителя всех дубковских обывателей.

Он начал с того, что взял к себе в дом Сергея и всю его семью. Жена Сергея стала у него хозяйничать, и надо было видеть, как все они зажили весело и счастливо. Бедным он простил долги и впредь давал займы решительно всем, кто у него просил, и не брал процентов.

Так прожил он очень долго, наслаждаясь полным счастьем среди семьи Сергея, благословляемый всеми односельчанами, а когда умер, то хоронило его не только все село, но и народ из окрестных деревень.

Когда его тело стали опускать в могилу, поднялся такой плач, как будто каждый из присутствующих хоронил родного отца.

Хорошо быть добрым и честным человеком, и сохрани нас Бог от скупости, злости, зависти и жестокосердия.

Удар

София Петровна овдовела еще в молодости. После смерти мужа у нее на руках остался малолетний сын, на котором она сосредоточила всю свою материнскую любовь. Она была женщиной религиозной, поэтому старалась воспитать своего сына в правилах христианской веры и нравственности. Когда ему исполнилось 12 лет, она отправила его в гимназию, где он окончил курс с хорошими результатами.

Если что и отравляло жизнь Софии Петровны, так это неверие сына. Иногда он позволял себе кощунствовать. Эти рассуждения оскорбляли религиозное чувство матери, и она говорила сыну:

— Одумайся, Авенир, не греши, помни всегда, что Бог поругаем не бывает, — что на грешниках пребывает гнев Его.

На эти благие наставления Авенир Аркадиевич мало обращал внимания, он уверял свою мать, что он верует, но что он — «выше обрядов». София Петровна наставляла, упрекала. Когда Авенир Аркадиевич замечал, что его мать раздражена его выражениями, он просил прощения и говорил, что больше не позволит себе так высказываться, и обещал исправиться. Эти обещания успокаивали Софию Петровну.

В батальоне Авенир Аркадиевич сошелся с сослуживцами, которые позволяли себе в товарищеских беседах кощунственные рассуждения и глумились над всем священным и дорогим для каждого истинного христианина.

Авенир Аркадиевич, к его несчастью, попал под влияние этих неверующих и кощунствовавших сослуживцев, а впоследствии и сам стал неверующим.

Он окунулся в светскую жизнь, в церкви бывал очень редко и то только по службе.

София Петровна писала своему сыну, просила его, чтобы он оставил свои греховные мысли, познал Бога и уверовал в Него. Эти материнские наставления не производили на Авенира Аркадиевича никакого впечатления.

Авенир Аркадиевич, получив отпуск, начал собираться домой. Сделав покупки в дорогу, он медленно шел в свою квартиру и вдруг почувствовал какую-то непонятную грусть, причиной которой он посчитал «неправильность своей жизни», так как он действительно большую часть времени проводил в товарищеских пирушках, где позволял себе выпить лишнее, а также предавался и другим порокам, которые расстроили его здоровье. К нему подошла одна бедная молодая нищая с малюткой на руках:

— Барин! Сжальтесь над женою несчастного мужа и подайте Христа ради на насущный хлеб: я второй день почти не ела.

Кажется, в первый раз в своей жизни Авенир Аркадиевич испытал чувство сострадания к бедному человеку. Вынув две серебряные монеты из бокового кармана пальто, он подал их бедной женщине. Женщина, взяв от него монеты, проговорила:

— Благодарю, барин, благодарю; дай Бог тебе здоровья. — И, пристально смотря ему в глаза, прибавила: — Дай Бог, чтобы ты выздоровел, чтобы Бог, наказавши тебя, не предал смерти.

Авенир Аркадиевич ускорил шаги. Он невольно обернулся — нищая все еще стояла на том же месте, смотря ему вслед.

Уже в квартире, раздевшись, Авенир Аркадиевич стал ходить взад и вперед по комнате. Он чувствовал себя как-то нехорошо, сердце щемило, а последние слова нищей все еще раздавались в его ушах, заставляя его трепетать от какого-то непонятного тяжелого чувства.

Когда вечером в его квартире собрались сослуживцы, он рассказал им о своей встрече с нищей и последних ее словах. Выслушав рассказ Авенира Аркадиевича, товарищи долго смеялись над тем, что он придает им какое-то значение. Вскоре хозяин развеселился и почти забыл о своей встрече с нищей. На следующий день Авенир Аркадиевич поехал к матери.

Воскресение. София Петровна, вернувшись с обедни, удивилась, что Авенир Аркадиевич еще не встал, хотя был уже полдень. И тут в комнату вошел лакей и скороговоркой, с дрожью в голосе, доложил:

— Барыня! С Авениром Аркадиевичем случилось что-то нехорошее.

Услышав эти слова, София Петровна тотчас же кинулась в комнату сына. Авенир Аркадиевич лежал неподвижно на постели. Глаза его были полузакрыты, дыхание прерывистое. Тотчас послали за доктором, который вскоре прибыл вместе с фельдшером. Тщательно осмотрев больного, врач вынес вердикт — апоплексический удар.

Приглашенный врач принялся за лечение, но болезнь не поддавалась стараниям врача: больной оставался в бессознательном состоянии, левая рука и нога были парализованы.

София Петровна пригласила из местного монастыря старца-священника отслужить молебен перед чтимой ею иконою Смоленской Божьей Матери, находившейся в ее доме. Эта икона осталась ей от родителей. Когда священник начал читать Евангелие, Авенир Аркадиевич через силу осенил себя крестным знамением.

От этого движения София Петровна зарыдала, и, опустившись на колени, воскликнула:

— О Пресвятая Владычице Богородице! Никтоже притекаяй к Тебе посрамлен бысть, или кто призываяй Тя не услышан от Тебе изыде!

Молитва матери спасла его.

Прошло уже десять лет. Он сейчас в отставке, живет в доме своей матери. Его часто можно увидеть в церкви на богослужении не только в дни воскресные и праздничные, но и в будни. Местные нищие называют его своим кормильцем-поильцем, и он вполне заслуживает этого звания.

Встреча со слепцом

Рассказ сельского священника

Село Отрадное стояло на высокой горе, окруженной хвойным лесом и широкой рекой. Я вышел из экипажа, так как паром находился на другой стороне реки, а перевозчик, как оказалось, ушел в село за продуктами.

У землянки перевозчика я увидел старичка с седыми вьющимися волосами. Он сидел на лавочке у землянки и плел лапти.

— Здравствуй, добрый старец, — сказал я ему, подойдя поближе.

— Милости просим, добрый человек, — отвечал мне старичок. — Ты кто такой?

— Священник, — ответил я и заметил, что мой собеседник слепой.

— Ах, отец духовный, — сказал слепец и встал с лавки, — благослови, отец духовный, меня, многогрешного.

Осенив его крестным знамением, я спросил:

— Как твое имя?

— Василием кличут, — отвечал слепец, — а фамилия Терпигорев, хотя односельчане меня знают как Богомолова — так звалась моя покойная матушка, Царство ей Небесное! При этих словах слепец набожно осенил себя крестным знамением.

При воспоминании о своей матери, как я заметил, голос его задрожал.

Я сел рядом со слепцом на лавочку. Наступило продолжительное молчание.

— Давно ты, любезный, лишился зрения? — спросил я.

Глубоко вздохнув, слепец ответил:

— Давно, это несчастье со мной случилось в 22 года.

— Что же было причиной такого несчастья?

Помолчав немного, слепец сказал с дрожью в голосе:

— Бог наказал меня за дерзость к моей покойной матери, и я безропотно несу эту кару праведного гнева Божьего, заслужил.

Через минуту слепец начал свой скорбный рассказ:

— Отец умер, когда мне было 15 лет. Мать с трудом растила меня, надеясь, что под старость у нее будет кормилец. Но я не оправдал ее надежд. Рано стал шалить, дерзить и не слушаться мою покойную матушку. Нередко она мне выговаривала за то, что я в воскресные и праздничные дни не ходил к службам церковным, проводя время со своими товарищами в пустых беседах или же на охоте. А сама она неукоснительно бывала в воскресные и праздничные дни в церкви. Поэтому односельчане прозвали ее Богомоловой. Тяжело мне вспоминать это время, — грустно сказал слепец, опустив свою седую голову на грудь и крепко задумавшись.

Затем он продолжил:

— Однажды я со своими товарищами затеял устроить вечеринку. Собрали три рубля и пригласили гостей. Я с товарищами договорился устроить вечеринку под воскресенье, свободное для меня и моих товарищей время. Купили в складчину угощение. Вечером двое зашли ко мне и сказали, что все готово, звали меня, чтобы я пошел с ними сделать кое-какие распоряжения насчет вечеринки в нанятой избе. Когда моя покойная мать узнала об этой затее, то стала упрекать:

— Одумайся ты, бездельник, что ты затеял. Вспомни, что завтра праздник Христова Воскресения, а ты, негодный, хочешь тешить дьявола песнями да плясками; ты совсем ошалел! Побойся Бога-то, если тебе не стыдно добрых людей, озорник ты эдакий!

Мать зарыдала. Я, несчастный, вместо того чтобы внять добрым словам, страшно обозлился и сказал:

— Пожалуй, если слушать всегда твои «монашеские» наставления — «под праздник» да «в праздник», — то не увидишь, как пройдет и золотая молодость!

Эти дерзкие слова очень обидели мать. Она горько заплакала и сказала:

— Не заботься, — увидишь, если Милосердный Господь только даст тебе зрение.

Сказав это, мать вышла из избы, громко рыдая, а я, несчастный, видя ее слезы и слыша ее рыдания, нагло засмеялся каким-то сатанинским смехом и дерзко сказал ей вслед:

— Недаром над тобой смеются все односельчане и их жены, называя тебя «богомолкой» и «монашенкой».

Товарищи мои, как я сам заметил, были поражены всем происшедшим и сказали мне:

— Напрасно, Василий, напрасно ты так обидел свою родительницу.

Услышав слова своих товарищей, я испугался.

Слепец вдруг замолчал. Конечно, ему крайне тяжело было вспоминать об этом дерзком поступке.

Глубоко вздохнув и вытерев слезы, слепец продолжил свой рассказ:

— Бог вскоре наказал меня. Я наряжался к вечеринке: вынул из своего ящика красную новую рубашу, стал ее надевать, но вдруг локтем опрокинул на себя горящую керосиновую лампу. Новая рубаша запылала, загорелись волосы на голове, я ужасно закричал и вскоре потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что нахожусь в больничном бараке, а около меня суетился сельский врач и два фельдшера, они бинтовали мои руки и живот, а на лицо была положена вата с какой-то мазью. Не буду, отец духовный, много рассказывать о своей болезни и о своих страданиях. Я просил окружающих, чтобы позвали мою покойную мать. Она, как оказалось, была тут же, в больнице, и тотчас же пришла по приглашению врача. Когда она подошла к моей кровати, я слабым голосом и со слезами сказал:

— Матушка, дорогая матушка, прости меня, окаянного, — взял ее руки и крепко-крепко целовал ее. Мать моя сказала мне твердо и без слез:

— Я прощаю тебя, несчастный сын мой, но проси, усердно проси о прощении Отца Небесного, Которого ты прогневал своей греховой, беспутной, незаконной жизнью.

Сказав эти слова, мать отошла от моей больничной кровати и вернулась домой, а я, несчастный, остался один в больнице, с ужасной тоской и отчаянием в сердце. В больнице я пролежал полгода и потерял зрение навсегда.

Слепец замолчал, по его лицу текли слезы.

Затем, глубоко вздохнув, слепец сказал дрожащим голосом:

— Да, отец духовный, я, несчастнейший человек, только теперь узнал на горьком опыте истину слов Писания:

«Кто злословит... свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Притч. 20, 20).

Я сказал ему:

— Не тяготись наказанием Всевышнего, это послужит тебе во спасение.

Уста не выгребная яма

В стороне от городов и больших дорог затерялась в русской чаще небольшая деревушка Горышкино. Народ там жил серый, темный. Было время, когда во всей деревне не было ни одного грамотного человека.

Церковь от деревни — далеко, народ бывал там редко, и священника своего почти не видели. Немудрено, что при такой темноте грубость и брань были привычны горышкинцам, и сквернословие на деревенских улицах не смолкало. Сойдутся мужички посидеть, — так и сыплется в речи брань. Молодежь играет в бабки, опять же не обходится без скверных слов. Крестьяне свыклись со своим пороком, не стыдились, не удерживали друг друга, равнодушно слушали и детскую брань.

Но вот из города приехал один старичок, давненько он не был в своей деревне, служил в Москве, а в деревню вернулся на законный отдых. Добрый, благочестивый и грамотный был дедушка Григорий. Было время, в молодости, и он был не чужд разных пороков, в том числе и сквернословия, но потом, с годами, благодаря внимательному отношению к своей душевной жизни и усердному чтению благочестивых книг он понемногу оставил прежние привычки.

По своей доброте он всей душой хотел отучить от греха своих земляков. Скорбел дедушка

Григорий, когда слышал частую брань в своей родной деревне, и стал выговаривать мужичкам что, грешно, стыдно православному христианину ругаться. Сперва над ним смеялись за эти наставления.

— Что ты, священник, что ли, учить-то нас надумал, без тебя жили, кажется, вон какой объявился.

Но эти насмешки не уничтожили в Григории желания отучить от сквернословия своих земляков. Ни на что он не обращал внимания, настойчиво продолжал увещевать ругателей. Услышит, например, что кто-нибудь ругается в кругу, подойдет и скажет:

— Православные, отойдите от ругателя, ведь он сам сквернится и в ваши души бросает комья грязи, ведь дьявол теперь около него увивается, радуется, а Ангел хранитель покидает бесстыдника, заткните, братцы, уши, не слушайте сквернослова, ведь зажимаете же вы свой нос, когда идете мимо ямы с нечистотами, закройте уши и от сквернословца, ведь из его нечистых уст, как из грязной ямы, несется зловонье, оно вас заразит и осквернит, если станете его слушать.

Если не уймется озорник, Григорий идет домой, приносит книгу и читает из нее, из святых отцов или пастырей Церкви, где осуждается грех сквернословия, и вразумляет сквернословцев.

Постепенно крестьяне стали внимательнее слушать Григория, осознавая, что он рассуждает правильно. Немало бесед, простых, но душевных вел Григорий со своими земляками, и не напрасны были эти беседы, запали они в крестьянские сердца. Много благочестивых книг привез он с собой и все их прочитал народу.

Появились, наконец, и плоды Григорьева труда, реже стала слышаться в Горышкине брань, а в присутствии Григория и самые отчаянные ругатели помалкивали.

Десять лет прошло с тех пор, как не стало Григория, но до сих пор крестьяне поминают его добрым словом, а подростки из недавно открытой школы в долгие зимние вечера пользуются наследством дедушки Григория, его засаленными уже книжками.

Обожённая шкатулка

Рассказ священника И. Орлова

Часто проезжая через одно торговое село, я всегда останавливал свой взгляд на странном двухэтажном доме. А внимание мое привлекала его угрюмость и то, что уже несколько лет этот дом стоял закопченным с одной стороны, с треснувшей стеной. Хозяин дома почему-то не заделал трещину и не забелил копоть. Мне захотелось узнать, кто хозяин этого дома и почему он столько лет стоит в таком виде.

Я всегда брал лошадей в этом селе у знакомого ямщика, у него-то я и решил расспросить про странный дом. Проехав базарную площадь, на которой стоял дом, я спросил ямщика:

— Скажи мне, Кузьма Васильевич, чей это дом, словно обожженный?

— Обожженный и есть, — ответил Кузьма, — страшный.

— Чем же страшен?

— А вот погоди, расскажу, как выедем из села.

Минут через десять мы выехали за село, и Кузьма стал рассказывать:

— Ну, если хочешь узнать про этот дом, так изволь: расскажу, пожалуй, только не хотелось бы...

— Чего не хотелось бы?

— Да рассказывать не хотелось: покойника-старика жаль, тоже ездил с ним, хороший был, Царство ему Небесное. Только вашей милости поведаю, а то многие из седоков тоже расспрашивали, да я все отмалчивался; говорю, не знаю, мол, а сам — все знаю!

Старик вздохнул.

— Ну, слушай, — начал он. — Дом этот купца Муромцева. Это теперь он купец, хоть и плохой, а прежде был обычный крестьянин. Купцом он сделался вот как. Лет тридцать пять назад был у нас большой пожар: дворов двести сгорело. Сгорела и базарная площадь, только храм Божий, словно чудом, уцелел, а на колокольне даже один колокол расплавился.

На площади тогда жил богатый купец Чарошников. Как случился пожар, Чарошников стал свое добро вытаскивать. А про деньги он второпях забыл. Вспомнил, а его дом уже загорелся. Кинулся купец в дом — и пропал. Жена и дети подняли крик:

— Сгорел, сгорел, кормилец!

А обожженный Чарошников, весь в поту и грязи, бежит с заднего двора, шепнул что-то жене, та замолчала.

Прошла ночь, всякий занят своим горем, непогоревшие пришли на пожарище, кто родных пожалеть, а кто просто поглазеть. Был и я там у родных, горе делил. Слышим шум, глядим: народ бежит туда, где был дом Чарошникова, побежал и я.

Чарошников кричит, рвет на себе волосы:

— Деньги, шкатулка, обожженная... деньги!

Думаем: деньги, видимо, сгорели.

— Божья воля, что сгорели, — говорим.

— Украл, а не сгорели, украл, сам спрятал, жена одна знала, куда отнес.

Все так и ахнули, как это у погоревшего — да воровать? Пришло начальство, начали к молодцам его приставать, те божатся, клянутся.

— Оставьте вы их, — говорит Чарошников. — Они не брали, никто не видал.

— Да надо же узнать, так нельзя оставить, — говорит начальство.

— Стойте! Вспомнил я! — вдруг зашумел Чарошников. — Петрушка сосед, тоже нес чего-то на зады, а я деньги зарыл под яблоней, должно, он видел.

Кинулись к Петрушке, перетрясли его добро, порылись в огороде, ничего не нашли, а Петрушка только знай:

— Что же, бедного человека всегда можно обидеть! Да когда ж я вором-то был?

Отступились от него, Чарошников даже прощенья попросил у соседа.

Отстроились погорельцы, отстроился и Чарошников, а рядом с ним Петрушка, да дом у него вышел получше Чарошникова.

— Добрые люди помогли, — говорит Петрушка, — вот и построился.

Прошло два года. Петрушка открыл лавку, стал торговать. А звать стали Петрушку Петром Сидорычем. Разжился Петр Сидорыч Муромцев лет через десять так, что первым богачом стал на селе. И в городе нашем, и в Москве его узнавали. Петрушка стал купцом Муромцевым.

Кузьма молча проехал верст пять крупной рысью и опять заговорил:

— Загремел Петр Сидорыч! В почете стал. Скупым он не сделался, храм Божий стал украшать, большой колокол — его жертва, бедным помогал. Только, видимо, Господу не угодны были его жертвы: наказал его Господь. С ума сошел. Сын у него был женатый с тремя детьми, ему он сдал все дела, а сам затворился и, говорят, Псалтирь читал. Читает, читает, да вдруг заговорит что-то неумное, а то запьет недели на три или больше. И пьяный не буянил, напьется — смотрит куда-то и шепчет что-то.

Сын, Степан Петрович, хороший был человек, набожный, кроткий. Дела вел лучше отца. Все его, покойника, любили, все о нем плакали, когда Господь послал ему не людскую настоящую смерть.

— Как это не людскую? — спросил я.

— А так, помер он без покаяния, а это какая смерть? Вот сейчас проедем мимо мельницы, покажу тебе место, где он отдал Богу душу.

Мы проехали мельницу.

— Вот, смотри, — говорил Кузьма, — видишь камень, это дети положили на месте его смерти, а схоронен-то у нас дома.

— Какою же смертью он помер?

— Сам себя валом задавил.

— Каким валом?

— Валом мельничным, лежаком.

— Как это?

— Сейчас расскажу. Степан Петрович дружил с мельником: он хлеб доставлял, а мельник молот. Иной раз и покучивали вместе; покойник хоть и редко, а все же выпивал. Вот привезли однажды мельнику вал, положили его на высоком месте, над рекой. А Степан Петрович увидал этот вал и говорит:

— А ведь я тебе хлопот наделаю, дружище, с этим валом.

— Да каких же хлопот?

— А я, — говорит, — вал-то с кручи в реку скачу.

— Ну, — говорит приятель его, — его вдесятером с места не стронуть.

— Увидим.

Он, бывало, и меня заставлял спихивать его. Да, где там? Попыхтим-попыхтим над ним, да и поедем, а приятель над ним смеется.

Все ж добился своего, скатил-таки вал.

— Один?

— Нет, вдвоем. Ехал Степан Петрович с одним нашим купцом в город. «Давай, — говорит, — спихнем вал!» Слезли с лошади, а ехали они без кучера, стали трогать вал, а рабочие мельничные кричат: «Нет, Степан Петрович, не осилишь». Глядь, вал покатился, Степана Петровича не видать, а купец отлетел в сторону. Ахнули рабочие. Закричали, зашумели, прибежали, а Степан Петрович еле хрипит, половину груди сплющило и голову раздробило.

— Да как же он попал под вал?

— Вал-то был граненый, видимо, за рукав зацепило.

— А другой — купец этот — уцелел?

— Тот уцелел.

— Да как же они вдвоем такой большой вал скатили?

— Весной его подмыло, а вымоины незаметны. С тех пор как это несчастье посетило старика Петра Сидорыча, так ему совсем поплохело. Стал заговариваться, осунулся. Иногда очнется, но лучше бы этого не было.

— А что?

— Что ж на горе смотреть умному? Ведь пошло горе за горем. Все дела остались на вдове сына, а она много доверяла детям, внучатам Петра Сидоровича. Старший внук еще с восемнадцати лет начал горькую пить. Женила его вдова, думала, что женится — одумается. А он все пить да пить, так и помер в белой горячке. И это горе видел Петр Сидорыч, и это пережил. А дальше еще хуже: другой внук тоже непутевый вышел.

Только один сын Петра Сидорыча, Семен, хорошим был. Его считали за простенького, а он лучше умных был. Только он и поддержал старика, и похоронил его. Умер старик. Внуки отделились от дяди и совсем разорились. Так и разлетелось их богатство, как прах по ветру.

— Ну, а этот сын живет хорошо?

— Жил хорошо при старике и после года три жил хорошо, а теперь пьет, и скоро не на что будет и пить. Оттого все, что чужие деньги, да еще обожженные, впрок никогда не пойдут, только горе принесут.

— Да, может быть, он не брал их?

— Не брал? Как помешался, все обожженную шкатулку вспоминал.

— А что же дом-то столько лет стоит закопченным?

— Было это тоже в пожар: опалило дом, а почему он не поправил его, никто не знает. Вроде и было на что поправить, да не сделал.

— Что случилось с Чарошниковым?

— Сначала жил у нас... плохо, а потом ушел в город. Старые приятели поддержали. Зажил хорошо, теперь его нет уже, помер давно, а дети тысячами ворочают. Вот и город, доставили вашу милость, славу Богу.

— Славу Богу, — сказал и я.

Угостились

В деревне Лимоновке под вечер, когда по окрестностям разнесся звон ко всенощной, перед домиком одной вдовушки собрались распевать разудалые песни молодые парни и девки. Эта находчивая крестьянка-вдовушка приманивала деревенскую молодежь и летом и зимой на беседы с угощением. И не только дешевыми пряниками и лакомствами угощала она, но и водкой, и понятно, за деньги, — потому что на эти деньги она и жила.

Зазывала к себе и молодых людей, чуть ли не подростков: ей нечего было опасаться ответственности за продажу вина, все было обставлено как просто «угощение».

После стужи и ветров в первых числах мая наступила ясная, сухая погода. День был жаркий. Богобоязненные люди говорили, что «надо бы помолиться Богу, чтобы послал дождь, не то быть засухе».

А молодежь, перебрасываясь между собой смешками и неприличными шутками, плясала и веселилась. В воздухе становилось удушливо. Припекавшее весь день солнце спряталось за тучу. Слышались глухие раскаты грома, закапал редкий дождик.

Плясовой круг вертелся все разудалей. Всех подбодряла любовавшаяся на потеху хозяйка двора. Ее сын, десятилетний мальчик, вдруг прекратил играть на гармонике и сказал:

— Перестаньте, разойдитесь, вон какая гроза идет.

— Оставь, Ванюша, — стала унимать сына хозяйка, — пусть веселятся. — Но дождь зачастил по мокрым головам и потным плечам.

— Ну, идите в избу, ребята, — пригласила она, — и там можно веселиться.

В просторную, светлую горницу набилось человек двадцать. Не успели опомниться, как раздался страшный треск, сверкнула молния, зазвенели стекла, грохнула печь, не остывшая еще с утра. Вся изба наполнилась криками и воплями.

Семнадцатилетняя сверстница хозяйской дочери упала замертво. У самой хозяйки на голове запылал платок, вспыхнули волосы и платье. Роковой удар убил одну девушку, других искалечил на всю жизнь, у кого-то опалило волосы, уши, у кого-то прожгло руки и ноги, кто-то лишился зрения и слуха.

Сама соблазнительница сильно обгорела и, после того как пришла в сознание, стала ужасно страдать от боли и умерла. Ее дом разрушился полностью. Молния сожгла кровлю ее дома, из

развалившейся трубы полыхнуло, но крестьяне не дали распространиться пожару, топорами и баграми растащив зачерневшие бревна занимавшихся стен.

Только сын соблазнительницы остался цел, отделавшись царапинами. Но стал сиротой.

Ищи рядом

Летний вечер. Прощальные лучи солнышка ласкают сельские домики, сады и огороды, каменную церковь на пригорке. По пыльной каменистой дороге катит тележка. Поворот на мостик, через светлую речку. С мостика, как на ладони, видно все большое, красивое село. Ярко горит крест колокольни, ямщик и двое путников набожно сняли шапки и перекрестились. Вот и роща, барский дом и сельская широкая улица.

— Родимое село, давно я тебя не видел, — тихо говорит один из мужчин. — Ваня, — обратился он к брату, — погляди, как отстроилось село, как разрослись сады.

Старший брат задумчиво молчал. Много лет тому назад, по этой же самой дороге, оба брата, маленькие, деревенские мальчишки уезжали учиться в город. Тяжело было ребятам прощаться с родным селом, с отцом, с матерью. Славно жилось им на приволье, в родной избе.

Отец их, крестьянин Аким Иванов, был добрый, трудолюбивый мужик. С утра до вечера он работал, не покладая рук, не пил, никогда ни с кем не ссорился и тихо жил в своей семье. За это уважали Акима и его семью. И жена ему попалась работающая. Послал Бог Акиму двух сыновей. Крепко любили Аким с женой своих ребяток. Здоровые и смышленные росли мальчики.

Младший Николай выдался послабее старшего Ивана и был любимец матери. Зато чудным характером наградил его Бог. Добрый, кроткий, задумчивый мальчик умел всем услужить и всех привязать к себе.

Время шло. Мальчики росли и крепили на свободе.

Однажды отец послал их к помещику. Добрый барин посмотрел на ребяток, поговорил с ними, приласкал худенького Колю и задумался.

Знал он Акима как хорошего мужика, понравились ему мальчики, смышленные и ласковые. Недавно перенес он большое горе: умер его любимый, единственный сын. Пришла барину в голову добрая мысль.

— Хотите, ребятки, учиться? — спросил он мальчиков.

Коля так и загорелся, а Ваня весь покраснел от радости.

Увидел помещик их охоту к науке, похвалил детей и через несколько дней сказал Акиму, что хочет послать его сыновей за свой счет учиться в город.

— Понравились мне твои мальчики, Аким, хочется мне из них людей сделать, хочу им образование дать, может, и заменят они мне умершего сына.

Аким повалился барину в ноги.

Мальчиков снарядили в дорогу. Тяжело было Акиму с женой расставаться с сыновьями. Обнялись, смахнули с глаз слезы и отпустили ребяток с наказом учиться хорошо.

И поехали ребятки. Быстро пролетело время. Некогда им было тосковать. Мальчики учились отлично, особенно младший. Ваня, живой, бойкий мальчик, был не таким терпеливым и внимательным, как тихий, задумчивый Николай. Приезжали на каникулы домой, где их горячо ласкали родители. Закончили мальчики гимназию, дал им добрый помещик и дальше учиться. И вот теперь закончено их обучение. На своих ногах стоят молодые люди, полны сил и хорошо образованны. Выросли, возмужали. Иван стал рослым, красивым юношей, а Николай остался худощавым, слабым и тихим.

Думается Ивану:

«Здоровы ли родные? Что делается у них?»

— Приехали! — прервал мысли молодого человека младший брат.

Иван оглянулся. Тележка стояла у маленького нового домика. Из калитки кто-то выглядывал. Николай с кем-то обнимался. Молодой человек тряхнул своими темными кудрями и вышел из тележки. Перед ним стояла его мать. Она с удивлением глядела на статного, красивого молодца.

— Матушка, — тихо сказал молодой человек, а старуха так и бросилась к сыну и замерла у него на груди.

Все село сбежалось встретить молодых людей, прибежал с поля и Аким. Не мог он налюбоваться на сыновей. В новой избе расположились молодые люди. Отец с матерью не знали куда посадить, чем угостить дорогих деток.

На другой день пошли они к помещику. Задумчиво шли молодые люди по селу. Все было им знакомое и родное. Старухи и старики выползли из избенок поглядеть на приезжих. Николай успел свести знакомство с сельскими ребятишками, и те неотступно бежали за ним.

И вот они стоят перед барским домом. Много лет тому назад два маленьких сельских паренька стояли тут же. Тихо прошли ряд комнат и вошли в кабинет помещика. Все так же убрана эта комната: шкаф с книгами, дорогие картины, ковры, стол, заваленный газетами, большое кресло, в котором сидит сам хозяин. Волосы и борода его поседели, лицо стало еще серьезнее. Но глаза его так же ласково смотрят на молодых людей, доброе и благородное сердце по-прежнему бьется в его груди. Поклонились ему юноши. Слезы заблестели на его глазах.

Ласково обнял их помещик, усадил, послал за женой, велел подать чай. Пришла и барыня, ласкала молодых людей, разговаривала с ними. Долго просидели молодые люди у помещика, много обсудили, высказывали свои мысли и планы.

Оба готовы были работать, трудиться изо всех сил, оба хотели приносить пользу, отблагодарить помещика за его любовь и доброе дело.

На прощанье помещик опять обнял их.

— Помните, дети, — сказал он, — я хотел сделать из вас людей честных и образованных. Это было мое желание. Пусть каждый из вас работает и трудится, как он может и как он хочет. Работайте, дети, любите Родину, не жалейте для нее ни сил, ни здоровья. Ваш честный труд, честные поступки будут мне лучшей благодарностью. Отдохните, а потом принимайтесь за дело. Если вам надо будет ехать, я дам вам средства, но учитесь рассчитывать только на себя, на свою голову и руки. Господь да хранит вас!

Растроганные, ушли от него молодые люди.

Наступил вечер, теплый и ароматный. Звон колокола сельской церкви далеко раздавался по округе. Церковь сверкала огнями, — был канун летнего праздника. Юноши пошли в церковь. Там они склонились в углу перед потемневшим, старинным образом Скорбящей Божьей Матери. Молодые лица их светились горячей верой и мольбой. Они просили помощи и успеха у Милосердной Заступницы, и светлыми слезами блестели их глаза, устремленные на кроткий лик Божьей Матери. Через неделю Иван Акимович уехал, попрощавшись с родными и получив деньги от помещика.

— Николай, поедem со мной, — говорил он брату, уезжая. — Ты задохнешься от тоски в этой глуши. Поедем вместе работать.

— Зачем? Куда? Я не знаю, зачем ты едешь, Ваня, а я останусь, попробую здесь поработать, сколько сил хватит. У меня небольшие силы, Ваня, куда мне? — тихо отвечал Николай.

Ему было тяжело расставаться с братом, которого он очень любил.

— Что ты будешь здесь делать? Здесь нечего делать, — надо искать потруднее дела, — уговаривал брата Иван Акимович. — Смотри, как несчастны люди, как портят они сами себе жизнь! Не наше ли дело учить их, втолковывать им то, что они не в силах понять. Поедем, милый брат. Не будем жалеть себя для нашего дела.

Но Николай не поехал.

Иван Акимович уехал, недовольный и расстроенный, но с полным желанием работать, потрудиться на общую пользу, с верой в будущее и в свои молодые силы. Надолго уезжал он из родного села, надолго расставался со всем, что ему было дорого. Долго оглядывался он на село и посылал сердечное «прости» своим родным. Потом он набожно перекрестился, отвернулся и загляделся вдаль. Что ждет его там?

Далеко от родины закинула судьба Ивана Акимовича. Много лет прожил он вдали от нее. Сколько мук и терзаний перенес он. Горячо бросился он в новое дело, учился сам, учил и других, старался втолковать людям, что можно жить лучшей жизнью. Он то учительствовал, то писал, то принимался лечить, старался подавить своеволие богатых людей, внушить им любовь и жалость к беднякам, хлопотал о бедных, устраивал читальни, бился изо всех сил. Но он был не в своем кругу. Богатые люди смеялись над ним, бедные не верили ему. Он нажил себе врагов и не нашел друзей. Много лет провел Иван Акимович в этом мотанье, в этих бесплодных хлопотах. Люди не ценили его усилий, не верили его искренности. Когда он заболел, от него все отвернулись. Иван Акимович едва не умер. Встал он исхудалый и угрюмый. Измученный, он потерял веру в людей и в себя. Вместо благодарности он видел насмешки, вместо дружбы — вражду и ненависть. Один в поле не воин, решил он и весь замер, затих. Тоска заела его.

И вот в одно тихое летнее утро он подъезжал к родному селу. Он сильно изменился с тех пор, как уехал отсюда. Не осталось сил, тоскливо и больно билось в груди измученное сердце.

По-прежнему катит маленькая речка свои светлые волны, так же шелестит лесок, где он любил в детстве бегать и играть с братом, так же сияет крест сельской колокольни. Но в селе многое изменилось. Много могилок прибавилось на сельском кладбище, много детей превратилось во взрослых людей.

Давно спит в сырой земле добрый Аким со своей женой, — около маленькой часовни, на погосте, покрытые свежей зеленой травой и полевыми цветами, высятся две могилки. Честные

люди лежат здесь; добрым словом поминают усопших стариков поселяне.

Быстро катится тележка по сельской улице. С изумлением смотрит Иван Акимович и не узнает села. Около церкви стоит красивый полукаменный дом, на котором написано: «Больница». Весело блестят окошки с чистыми занавесками, густые деревья заглядывают внутрь красивого дома. Вот тележка остановилась у домика. Не узнает Иван Акимович родной избы. Вся она перестроена, переделана, с левой стороны что-то пристраивают, на домике большая вывеска: «Школа».

Удивленный, открывает калитку Иван Акимович. На дворе бегает толпа ребятишек, в доме слышны звонкие ребячьи голоса. Остановился Иван Акимович на пороге, смотрит — и глазам своим не верит. Большая, светлая комната, у стола сидит его брат, окруженный ребятишками. У всех в руках книги и доски. У окна толпа девочек около молодой женщины, которая что-то шьет. Сам помещик тут же что-то рассказывает бойкому, востроглазому мальчику. Стоит Иван Акимович, смотрит и молчит. Оглянулись дети.

— Чужой, чужой, — кричат звонкие детские голоса. — Николай Акимович, чужой барин пришел.

Николай поднял голову, увидел брата и бросился обнимать его. Подошел и постаревший, седой помещик. Иван Акимович не узнал брата: так поправился, пополнел Николай Акимович — совсем молодцом смотрит. Что-то горькое, тяжелое проснулось в сердце приезжего, как увидел он тихую картину сельского счастья.

— Как ты, Ваня, изменился, — тихо говорил Николай, грустно глядя на брата.

Прежнего статного молодца и узнать нельзя. Похудел, осунулся, пожелтел Иван Акимович, печальные глаза, в волосах седина, на лице скорбь и тоска. Отпустил Николай Акимович ребятишек, увел брата в другую половину дома, усадил в кресло. Пришел к ним помещик, подошла и молодая, миловидная женщина, жена Николая Акимовича.

Стали говорить. Не спрашивает Николай Акимович брата ни о чем, боится разбередить его раны. В основном про себя рассказывает, как он потихоньку да понемногу начал с ребятишками сельскими заниматься и отцу-матери в домашней работе помогать. Ребятишки его полюбили, поселяне благодарили за детей. Понемножку, с помощью помещика, Николай Акимович выхлопотал разрешение открыть в селе школу. Много было хлопот и неприятностей. Но школа все-таки удалась.

Ребятишки из соседних деревень приходят, страшно любят своего учителя. Болезней много было на селе. Задумался Николай Акимович. Он старался предостеречь крестьян, учил их опрятности. Потолковал о чем-то с добрым помещиком. Тот уехал в губернский город и вскоре привез оттуда фельдшера и разрешение открыть сельскую больницу. Жена у него умерла, благородный человек весь отдался доброму делу, неустанно хлопотал и добился устройства больницы. С тех пор они работали изо всех сил, разрывались между школой и больницей. Похоронил Николай Акимович своих стариков, погоревал, потом женился и вместе с женой стал работать в школе.

Легче стало у Ивана Акимовича на сердце, когда слушал он тихую речь брата. Глубоким уважением к брату было полно его сердце. Когда Николай Акимович вышел из комнаты, помещик обратился к Ивану и сказал:

— Не горюйте, друг мой, вы еще найдете дело, которым наполните вашу жизнь. Только следуйте примеру вашего брата. В своей скромности — он великий человек, сколько добра и пользы сделал он здесь тихо в своем уголке. Сначала он жил для родителей, которые умерли,

благословляя его, потом он все свое честное сердце отдал своей семье и ребятишкам. Как он хлопотал о школе и больнице, как работал. Дети обожают его, крестьяне зовут чуть ли не святым. Тихо, скромно проходит его жизнь, посвященная ближним, тихо делает он свое великое дело. И вас не забыл брат, он ждал, верил, что вы вернетесь и будете работать вместе с ним.

Согретый этой любовью и вниманием, после долгих лет борьбы и страданий, Иван Акимович рассказал брату о своей жизни, полной борьбы и бесплодных усилий.

— Я слишком много взял на себя, — сказал он, окончив рассказ, — я хотел переделать и перевернуть весь мир — и только измучился и состарился в этой борьбе. Теперь я понял, где истинное, святое дело. Если вы дадите мне долю вашего труда, я буду счастлив, я так исстрадался, измучился, — слезы катились по его щекам.

В тот же вечер в сельской церкви, перед тем же кротким образом Богородицы, с горячими слезами Иван Акимович долго молился и благодарил Бога за то, что вернулся и ожил среди своих родных.

Седой, усталый, с измученным сердцем, вернулся он под родной кров и снова здесь, в родной церкви, перед образом Царицы Небесной, он нашел покой и тишину сердечную, понял, что истинное и великое дело не требует шума, а делается тихо и скромно, что надо около себя искать его. Не узнает и не прокричит шумный свет о скромном деле, но знает благодарное сердце человеческое и видит наш Милосердный Судья Небесный. Не лучшая ли это награда человеку?

Страдник

Рассказ священника

После зимнего праздника святого Николая Чудотворца я навещал в родном селе свою матушку-старушку. А утром отправился в церковь. Там стоял гроб, около которого собрался народ. Были там и родные покойника, но больше было посторонних. Меня поразили и сам гроб, и лицо мертвого. Гроб был какой-то необыкновенный: коротенький, высокий ящик; тело лежало, скорчившись, как будто покойник в этом гробу родился, жил и умер. Лицо его сияло неземной чистотой, дышало младенческой кротостью, а на устах его была добрая улыбка. Все стояли с каким-то особенным благоговением. К обедне набралось много народа, так что церковь переполнилась.

Когда закончилось отпевание и зять мой, священник, вернулся с поминок, я спросил его:

— Скажи, пожалуйста, кто был этот покойник?

— Это был замечательный человек, — отвечал мне зять.

— Это Божий человек, — сказала матушка. — Мы все звали его страдником.

— Да, страдалец был, — прибавила сестра.

— Дай Бог ему Царство Небесное, — перекрестилась матушка, — уж натерпелся он на этом свете, помучился за грехи свои.

Мне стало еще любопытнее.

— Да расскажите мне, ради Бога, поподробнее: кто он такой? Как он жил и умер?

— Это долго.

— Ничего.

— Их было два брата, — начал рассказывать мой зять, — Федор и Иван. Жили они в нашем приходе, недалеко, в деревне Бахромеево. Звали их богомолами. Сначала с родной матерью, женщина она была богобоязненная, и они были мальчишки славные — все в нее. Мать умерла, а отец женился на другой. Мачеха была злая, как видимо и положено мачехе. Наш край был барщинский. Крестьяне все помещичьи, казенных не было. А в таком краю, сам знаешь, женщины и девушки, волею и неволею, скоро как-то портятся. Мачеха Федора тоже, говорят, была порочна. А Федор терпеть не мог женщин такого поведения. Для него это было хуже тупого ножа. Однажды Федор видит, что мачеха тащит что-то со двора. Он сгоряча отругал ее такими непристойными словами, что даже она ужаснулась. Федор тотчас спохватился, все же она, хоть и неродная, но ведь мать. Но слова назад не воротишь. Мачеха ушла, а грех Федоров лег камнем на его душу.

Вскоре и мачеха, и отец умерли. Федор с Иваном остались хозяевами в доме. Оба были хорошими крестьянами: работали усердно, оброк платили исправно, вина много не пили. Оба были женаты: жены у них были добрые. Только Федор недолго пожил с первой женой. После родов она заболела и умерла. Федор женился на другой, на Авдотье.

Это была добрая женщина, но легкомысленная и забывчивая. Ничего дурного в жизни она не делала, но на словах была неосторожна, что особенно оскорбляло и огорчало ее мужа. И Федор решил уйти работать в другую деревню или город. При расставании Федор наказал ей вести себя осторожнее и скромнее. Он нанялся в работники к нашему церковному старосте, а Авдотья пошла к нам в работницы.

Года четыре Федор жил у старосты. Тот платил исправно, кормил хорошо. Не было причин уходить. Однажды староста велел Федору набить погреб снегом: работа не тяжелая, но муторная. Четыре дня он занимался этим и все время стоял ногами в снегу, а снег весенний, мокрый. Федор простудился.

Ему бы к доктору, да где ж в деревне доктора взять? И когда лечиться? Каждый день с утра до ночи — работа. И на какие деньги лечиться? Упустил время. Мол, ломят и ломят ноги, потом стал домашние средства употреблять: то попросит баню растопить, то потрет чем-нибудь. Успокоится на минуту, а потом опять сильнее прежнего ноют. Временами он кричал от боли. И у старосты работать перестал.

Он нанялся в городе к одному купцу, чтобы быть поближе к доктору. Доктор помог, но Федор опять простудился, и его ноги заболели еще сильнее. И от купца пришлось уйти. Его взяла к себе барыня, поручила ходить за лошадьми, дала помощника. Он вроде успокоился, так как срочной и тяжелой работы у барыни не было. Больше присматривать, чем самому работать. Но болезнь догнала, ноги стали пухнуть.

«Ох, матушка, — бывало, скажет он, когда приедет к нам, — плохо дело, не могу наступить, вон, какие чурбаны», — покажет на ноги и едва-едва двигается. Барыня берегла его, даже оброк не брала. Но Федору делалось все хуже и хуже. Он совсем перестал ходить. Отправился в свою деревню, в Вахромеево, там купил себе избушку. Его отвезли и положили на кровать. Ноги у него стало сводить так, что он не мог ни разогнуть, ни протянуть их. Лежал и молча страдал.

Была в Федоре одна замечательная черта, во время болезни он никогда не роптал на Бога. Напротив, в нем открылось удивительное самоосуждение, самое искреннее и чистосердечное раскаяние во всех своих прежних грехах. Кто ни придет к нему, он одно твердит:

— Ох, батюшки мои, помолитесь вы за меня, грешного. За грехи мои Господь наказывает меня, окаянного.

Особенно тяготил Федора один грех: то, что он отругал свою мачеху дурными словами.

— Не был я душегубом, не был я ни гулякой, ни пьяницей, — говорил он. — Не грешен я в этих делах перед Господом Богом. Один грех как змея сосет мою душу, за него Господь Бог наказывает меня. Мать свою, хоть и не родную, оскорбил скверными словами. Ох, помолитесь за меня, окаянного.

Федора навещали из сострадания, приносили ему или калачик, или чайку с сахарком.

— Ох, родные мои, — говорил, бывало, он, — мало мне, окаянному, за мои грехи. Ох, скажите вы детушкам вашим, чтоб они боялись бранного слова больше огня, чтобы они чтили своих отцов и матерей. Вот за непочтение мое к матери Господь наказывает меня.

Барыня выплачивала ему пенсию, а потом, когда имение досталось ее племяннице, та нередко приходила к нему, утешала и приносила чая, и сахара, и лекарства.

Федор несколько раз в год исповедовался и приобщался Святых Тайн, это было для него праздником. Слезы умиления текли из его глаз.

— Помолись ты за меня, окаянного, — говорил он священнику, — чтобы Господь послал мне один конец. На что я похож стал?

— Возверзи на Господа печаль твою, Федор, молись Ему усердно, не ропщи ты на Него. И жизнь, и смерть наша в Его руках. Ведь Он наш Отец.

— Батюшка, я измучился, измучил и других. Авдотья замучилась, глядя на меня и ухаживая за мной.

Для Авдотьи действительно нелегко было ухаживать за Федором, у него появились пролежни, на ногах открылись раны, а в ранах завелись черви. Но Авдотья все переносила без ропота.

Летом он посылает ее на работу.

— А ты-то как?

— Ну, полежу. Поставь только мне водицы.

Авдотья уйдет. Федор лежит один-одинехонек, потянется за питьем, да так и грохнется с кровати, и лежит до прихода Авдотьи.

— Ох, подними ты меня.

— Ах ты! Как это ты упал-то? — Поднимет и уложит его на кровать.

Ходила навещать его и матушка моя, старушка, и кое-что приносила ему.

— Мать ты моя родная, — скажет Федор. — Помолись ты за меня, грешного, Господу, чтобы Он

простил меня.

— Что делать, Федор-голубчик, Господь очистит этим твою душу, Господь не помянет за это твоих грехов, Господь воздаст тебе за твое терпение.

— Ох, матушка, какой я грешник-то.

Федор заплачет.

— На-ка, я тебе образочек принесла: «Скорбящая Божия Матерь», молись Ей усерднее.

Федор еще больше заплачет.

— Матерь Божия, грешен я перед Тобою. Ты Сама была матерью, ты понимаешь, как тяжело я оскорбил свою мать, прости меня, окаянного.

Матушка утешала его, как можно, советовала ему молиться Господу Богу и Божьей Матери.

— Молюсь, матушка, молюсь. Уж и вслух молюсь, когда никого нет в избе. Да уж Господь, должно быть, забыл меня. Матерь Божья, должно быть, прогневалась на меня. Ох я, окаянный.

Матушка станет собираться домой, а он скажет:

— Попроси батюшку, чтобы он велел сторожу вырыть могилу, заройте вы меня, окаянного. Мочи нет, измучился я.

— Потерпи, Федор, голубчик, придет час воли Божьей, успокоишься и ты от скорбей своих.

Авдотья иногда по легкомыслию не могла терпеть. Придет, бывало, к матушке, та и спросит ее:

— Авдотья, ну что твой Федор-то?

— О, Бог с ним! Жив еще, уже надоел, ведь как ком. Уж очень я с ним измучилась.

— Эх, Авдотьюшка, кому же за ним ухаживать, как не тебе? Ведь ты не чужая, ведь ты жена.

— Да, жена. Но терпенья уже нет.

— Полно! А ты вспомни-ка свою-то молодость-то. Может быть, Господь дает тебе возможность загладить твои грехи.

Авдотья замолчит.

— Посуди сама: не чужая же будет ходить за ним, кто пойдет к тебе в дом? Потерпи, походи за ним, да с лаской, с любовью.

— За ним без ласки нельзя ходить, — скажет Авдотья. — Будь каменная, будь злая-презлая, и то сделаешься ласковою. Ведь только и речей у него: «Родная ты моя! Замучил я тебя! Ох, прости ты меня, окаянного! И тебя-то я оскорблял часто! Ох, грешник я окаянный!» И руки целует, а у самого слезы так градом, градом. — И сама Авдотья заплачет. — Уйду из дома, оставлю ему попить, — ест он мало, так, крупиночку, а больше все пьет воду, — иногда без меня все и выпьет. День-то летний. В горле у него засохнет, еле дышит, приду, а он стонет: «Ох, матушка, утоли ты мою жажду, измучился». Другой бы побранил меня, а он все только молит, да просит, да ублажает. Я напою его, а он мне: «Сунь ты меня с кровати, я умру, полно

мне мучить тебя». — «Что ты, Федор, Христос с тобою!» — «Ох, забыл, знать, меня Господь!»

В последнее время еще больше стал молиться. Шепчет молитву, крестится, и такой терпеливый стал, охоть перестал, глаза сделались такие чистые, светлые. Так в душу твою и смотрят, лицо тихое и спокойное. И сны ему стали сниться все какие-то необыкновенные.

— Послушай-ка, Авдотьюшка, — однажды говорит он мне, — какой я сон чудный видел: вижу, будто батюшка наш в епитрахили и с крестом в руках был в нашей деревне: уж праздник ли был какой иль так, не знаю. Только вдруг гляжу у себя на постели, вот тут в головах, крест-то и лежит, и так сияет, так сияет, словно молния от него. А батюшка около меня, и говорит мне: «Не горюй, Федор, это твой крест, Господом Богом тебе посланный; видишь, как он сияет». Я и проснулся. И так у меня на душе легко-легко стало, словно в Светлый день, а слезы так и льют рекой из глаз, вся рубашка от них взмокла.

— Да, чего уж? — продолжала Авдотья, — с ним как-то боязно стало оставаться: глядит зорко, лицо серьезное, точно думу думает, а сам то и дело крестится. Так иногда страх нападет на меня. Однажды вернулась я с обедни, развязываю платок, снимаю шубу, а он мне и говорит:

— Ох, матушка, Господь смиловался надо мной, хочет конец послать мне.

— А что же?

А у него лицо-то такое радостное.

— Да ведь ко мне старичок приходил.

— Какой старичок?

— Такой седенький и добрый. Я так испугался, когда увидел, что лик его сияет.

— Ну, ты уж тут придумаешь что-нибудь, лежа.

— Что ты, Авдотьюшка, Христос с тобою, видит Бог, не лгу.

— Ну, что ж?

— Ну и говорит мне: Федор, собирайся! В Николин день Господь возьмет тебя к Себе.

Сказал и скрылся: я не успел даже перекреститься. — Ты уж вели батюшке соборовать меня и причастить. До Николина дня недолго.

— Ну, давно ли причащался?

— Нет, нет, Авдотьюшка, вели, непременно вели. Уж я больно рад, что Господь конец мне посылает.

Федора пособоровали и причастили.

Настал Николин день. Авдотья стала собираться в церковь к заутрене, а Федор говорит ей: простимся, Авдотьюшка, может быть, ты и не застанешь меня.

— Что ты, Бог с тобой. Ведь тебе не хуже.

— Так-то так, а все же простимся. Ведь это не грех.

Авдотья подошла к нему. Он перекрестил ее и крепко-крепко поцеловал:

— Ну, прости меня, грешного, во всех моих грехах да молись за меня.

Авдотья отстояла заутреню и обедню, вернулась домой и видит — Федор кончается. Она к нему, а он вздохнул — и Богу душу отдал.

Когда зять закончил свой рассказ, у матушки и у сестры слезы текли по лицу. Я перекрестился и в душе сказал: помяни, Господи, душу усопшего раба твоего Феодора.

Чистое сердце

В небольшой приходской церкви, около клироса, в уголке, каждый день стоит старушка и с ней мальчик, ее единственный любимый внук. Они благоговейно смотрят на образ и горячо молятся. Старушка опирается на внука. Он — высокий, стройный, одиннадцатилетний мальчик, с серьезным лицом и глубоким взглядом.

Заканчивается служба. Старушка бредет домой, поддерживаемая внуком. Бережно ведет свою бабушку мальчик. Дойдут они до своей маленькой квартирке, мальчик раскутает старушку и бережно усадит ее в большое кресло. Накинет теплую шаль на ее старческие плечи и любовно прильнет к тонкой и бессильной старческой руке.

Старушка слепа. Ее глаза не видят детского личика. Она ласково ощупывает голову мальчика и нежно целует его.

Старушка когда-то была очень богата. Дочь богатейшего купца не знала ни в чем себе отказа. Ее мать рано умерла. Купец приискал дочери в мужья богатого князя, больного подагрой. Молодая, полная жизни, красивая девушка стала женой и сиделкой капризного, раздражительного князька. С ангельским терпением ухаживала она за мужем, терпеливо переносила его капризы. Разрывалась между воспитанием дочери и уходом за мужем. Через десять лет князь умер. Княгиня все силы отдала больной и слабой дочери. Она жила только ради нее.

После замужества ее дочь умерла и оставила маленького сына. Пожилая княгиня перенесла всю свою любовь на мальчика. Зять ее уехал за границу. Она поселилась с внуком в небольшой квартире, раздала все состояние на приюты и школы. Она воспитывала мальчика, учила его.

В тихом уголке, окруженный нежной любовью, рос и развивался маленький Сережа. Он горячо любил свою бабушку, свой тихий уголок. Годы шли. Несчастье обрушилось на княгиню. Она ослепла. Маленький Сережа долго не мог примириться с этим и часто плакал. Потом он привык и не отходил от бабушки. Слепая и слабая, она не забывала о милосердии. Вместе с Сережей, опираясь на его детскую руку, она продолжала помогать бедным и несчастным. А сама таяла день ото дня.

Каждый день они ходили в свою приходскую церковь. Вернется домой, сядет в свое большое кресло и отдыхает. Мало сил у старушки, не долго ей осталось. Они живут в маленькой, чистенькой квартирке. Сереже очень нравится их опрятная столовая, своя детская, светлая комната с окошком на густой тенистый сад и бабушкина спальня, где хранится киот дорогих образов.

Он любит вечером сидеть в этой темной комнате. Жарко топится печка. У образов мерцают лампы. Тени ползут по стенам. За окном воет вьюга.

Недетские мысли бродят в голове у мальчика. Он дал себе слово во всем быть похожим на бабушку. Чистая душа видит в ней что-то святое, великое. Он будет такой же, как она, добрый и честный.

Слепая, не мигая, смотрит вдаль. Ее мысли тоже сумрачны. Она думает о своем мальчике, о своем Сереже. Останется ли он таким, как теперь, чистым и добрым? Что сделает с ним жизнь без нее, когда ее похоронят? Ее старческое сердце сжимается при этой мысли.

С начала Великого поста старушка захворала. Сережа был печален.

— Сережа, будем говеть на следующей неделе, — сказала старушка внуку, сидя с ним вечером в своей комнате. — Отговеем — может быть, мне и легче станет.

Сережа только крепко прижмется к своей бабушке и грустно промолчит. Болит детское сердечко.

Со следующей недели они начали говеть. Каждый день становились в своем уголке перед образом и горячо молились. Молились друг за друга и за всех страдающих и угнетенных.

Вечерами в маленькой спальне зажигалась лампочка. Сережа читал бабушке Святое Евангелие, читал внимательно и усердно. Свет от лампы падал на седую голову старушки, на ее доброе старое лицо, освещал тонкие черты мальчика. Рука старушки лежала на голове мальчика. Сережа любил читать Евангелие. Бабушка научила его понимать святыне слова.

Слезы текли по щекам мальчика. Слепая прижимала его к себе и успокаивала, рассказывала ему о милосердии Божьем, о Его правде и долготерпении.

Старушка и внук усердно говели. Слепая совсем ослабла. Сережа с горем в сердце замечал, как слабела его бабушка, как изменилось ее милое лицо. Она едва могла пойти на исповедь. После исповеди Сережа поехал с бабушкой навестить больных. День был ясный. Солнышко грело. Старушка улыбалась.

Кротко и долго говорила она с больными и, провожаемая благословениями, уехала с внуком домой.

Весь вечер они просидели в маленькой спальне.

— Помни, Сережа, дорогой мальчик, — говорила старушка, лаская его, — помни, что все люди не злы в душе. Умей найти доброе и святое в душе каждого человека. Не осуждай и не вини других ни в чем. Никто и тебя не осудит. Чаше вспоминай Нагорную проповедь Спасителя. Я стара, Сережа, и не знаю, долго ли я проживу. У тебя есть отец, он на днях вернется, я писала. Люби отца. Работай всю свою жизнь, не забывай, что Бог дал тебе жизнь для того, чтобы ты помогал бедным и страдающим. Вспомни, как страдал Спаситель. Я много грешила в своей жизни, может быть, и зла много сделала. А у тебя пока сердечко чистое. Береги его, Сережа, береги от зла. Это лучшее сокровище, твое богатство. Будешь ты честным, хорошим человеком — душа моя будет радоваться. Не забывай Бога и ближних, Сережа!

— Живи, бабушка, со мной, — сказал мальчик, — я без тебя не могу жить, я умру. Я не проживу, бабушка, без твоей руки, без твоего голоса. Помни, бабушка, я умру.

Горько плачет мальчик, прижавшись к любящей груди. Из слепых глаз падают слезы на голову Сережи.

На другой день они причастились. Старушка была спокойна и весела. Целый день она говорила с внуком, толковала ему Святое Евангелие, ласкала его. Горячо поцеловала она мальчика перед сном. Дрожащей рукой она перекрестила Сережу. Слезинка упала на чистый детский лоб.

Бабушка последний раз целовала своего ненаглядного мальчика...

На другой день Сережа проснулся спокойным и веселым. Ясное солнышко заглянуло в его окошко. Весенний, чистый воздух лился в открытую форточку. Где-то в синем небе пел жаворонок. Сережа вбежал к бабушке и удивился.

Она лежала, откинувшись, на кресле. В руках — Святое Евангелие.

Сережа взял ее за руку. Упала холодная рука. Бабушка не дышала. Ее сердце перестало биться. Она умерла.

Через несколько дней добрую старушку похоронили. Отец Сережи устроил богатые похороны. Но лучшей наградой ей были слезы бедняков, шедших за ее гробом.

На кладбище одной могилкой стало больше. Засыпали землей добрую бабушку. Поплакали, разошлись и успокоились. Не успокоилось только одно бедное, надорванное, детское сердечко.

Сережа не может забыть свою бабушку. Столько ласки, доброты, столько самоотверженной любви потерял он. Разрывается от боли детское сердечко! Часами плачет мальчик над свежей могилкой.

Льются чистые, детские слезы. Орошают могилу. Весело греет солнышко. Поет жаворонок. Тихо покоится в сырой земле навеки уснувшее честное сердце.

Телеграмма

У матери умирал последний ребенок. В семье было четверо детей, трое из них умерли раньше, теперь умирал четвертый — самый любимый. Мать целый день сидела у изголовья умирающего и уже не могла плакать. Доктор утром сказал, что «науке больше ничего не остается делать в данном случае, но для Бога, конечно, все возможно». Отец был на службе. И еще не приходил, а уже начинало смеркаться. На улице поднялась такая метель, что и не приведи Господи!

Ребенок тяжело дышал, ему не хватало воздуха: в комнате было и тесно, и темно, и душно.

— Мама! Сделай ветерок, — хрипел умирающий, и бедная мать стала размахивать развернутым носовым платком над головой маленького страдальца.

Слегка освеженный, ребенок стал засыпать, а мать продолжала над ним сидеть с тою же скорбью в глазах.

Она вспоминала о том, как при помощи святых угодников не раз возвращались к жизни умирающие. Несчастливая мать опустилась на колени у кровати больного и начала жарко молиться.

Она и прежде молилась, но никогда еще молитва не облегчала до такой степени ее души, как теперь. Она положила последний земной поклон, встала, глубоко вздохнула и перекрестила спавшего ребенка.

После этого, вспомнив, что завтра воскресенье, она зажгла лампадку перед образом Богоматери и, еще раз набожно и с верой посмотрев на лик Пресвятой Девы, опустилась на стул, на котором проводила дни и ночи уже пятые сутки.

Пока мать ждала с минуты на минуту смерти ребенка, отец работал над годовым отчетом в своей конторе. Два раза он хотел отпроситься домой раньше положенного часа и оба раза тщетно: строгий и бесчувственный начальник, резко оборвал его:

— У меня, батенька, тоже есть дети, и дети эти, так же, как и ваши, болеют, а видели ли вы меня когда-нибудь, чтобы я бросил мой служебный пост раньше положенного времени?

Это было в первый раз, а когда во второй раз несчастный чиновник попытался снова разжалобить каменное сердце начальника, тот без всякой уже деликатности гаркнул:

— У вас умирает, говорите вы, ребенок. Что же, поможет ему ваше присутствие?

Бедный отец, не зная, что ему делать, написал телеграмму на имя отца Иоанна и, как только закончился рабочий день, бросился на телеграфную станцию. Телеграмма была написана под влиянием горячего чувства веры, в ней было написано только несколько слов:

«Молитесь о выздоровлении умирающего отрока Димитрия!»

За эту короткую телеграмму бедный чиновник заплатил чуть ли не последние деньги.

Когда телеграмма летела по проводам, неземное чудо совершалось в бедно убранной, тесной и душной комнате, где лежал умирающий ребенок.

Мать сидела молча и неподвижно, ребенок порывисто и тяжело дышал, лампада ясно сияла на светлой ризе иконы. Вдруг открылась дверь. Да так тихо, что даже пламя лампадки не колыхнулось и продолжало ровно гореть. В комнату вошел священник. Мать, удивленная и обрадованная этим неожиданным появлением, встала ему навстречу и поклонилась. Священник поднял руку и благословил ее. Затем он подошел к кровати больного ребенка, посмотрел на него внимательно, с верой и любовью, потом посмотрел на образ — и стал молиться. Он долго и прилежно молился, и наконец, опустил руки на спавшего ребенка.

Мать стояла на коленях позади священника и, следуя его примеру, тоже молилась и клала земные поклоны. Когда она встала и оглянулась вокруг, в комнате уже никого не было. Лампада теплилась по-прежнему ровно, дверь была заперта, не было слышно ни одного шороха. Ребенок спал, но дыхание его было ровнее и спокойнее, в нем не слышалось больше хрипенья и стонов.

Мать, не зная, что и думать, села на свое обычное место у изголовья, но тут она почувствовала, что ее сковывает сон, — она закрыла глаза и забылась.

На другой день, когда мать проснулась и посмотрела на больного ребенка, ее взгляд встретился с улыбкой ее мальчика. Он лежал словно преображенный. Личико его было, правда, худым и бледным, но на нем появилась жизнь, а глазки сияли радостью. Он держал в руках свой нательный крестик и, играясь, рассматривал его. Отец уже покормил его молоком и стоял тут же, у кровати.

— Слава Тебе, Господи! — вырвалось у матери. — Видно, молитва священника сильнее, чем все эти докторские лекарства, — и она рассказала мужу о том, как вчера пришел к ним неизвестный священник и молился над их умиравшим сыном.

Отец выслушал рассказ жены, потом подошел к комоду и долго рылся в ящиках, наконец, найдя в пачке писем и бумаг завалявшуюся фотографию, он взял ее, показал жене и спросил:

— Ты видела когда-нибудь это лицо?

Жена вместо ответа схватила фотографию, удивленно посмотрела на нее и сказала:

— Господи Иисусе Христе, да ведь это он и был вчера, и молился здесь!

— Это отец Иоанн Кронштадтский, его молитва и спасла нашего сына.

И муж рассказал жене о вчерашней телеграмме.

Бог посетил и семью злого начальника. Тот расписывал висты в клубе, хорошо нагрелся, был доволен, как ему вдруг сообщили, что его младший ребенок заболел. Когда он вернулся домой, было уже поздно, его сын был уже мертв.

Дьячок Петрович

Николай Петрович был дьячком в селе Покровском. Крестьяне звали его попросту Петровичем, а дети дедушкой Николаем. Дедушке Николаю было уже восемьдесят, и всю свою долгую жизнь он провел в родном селе, там он и родился. Отец его также служил в церкви, но умер молодым, когда дедушке Николаю было еще пятнадцать, и он оканчивал духовное училище.

Дальше учиться Николаю Петровичу уже не пришлось, так как после смерти отца он остался старшим в семье и должен был помогать матери. Он поступил на отцовское место.

Сначала на новой должности жилось трудно. Братья и сестра были еще маленькими, а мать ослабела от горя и забот, так что работать пришлось за всех. Ни зимой, ни летом не знал Николай Петрович отдыха: трудился больше любого крестьянина. Но понемногу привык к сельскому делу, полюбил его. Ни у кого такого хорошего хлеба, как у Покровского дьячка, не было.

А братья его росли и учились двенадцать лет в городе, пока оба благополучно не окончили семинарию и не получили свои приходы. Сестру Николай Петрович выдал замуж за хорошего человека и остался в родном доме один со старухой-матерью. Сам он не хотел жениться, потому что боялся взять мачеху братьям и сестре. А потом, когда стал стареть, решил дожить век одиноким.

Мать его умерла. Николаю Петровичу было сорок лет, сил оставалось еще много, и работать он не прекращал. Правда, хлеба ему, одинокому, немного было нужно, родные в его помощи не нуждались, и теперь Николай Петрович раздавал урожай крестьянам. Народ, конечно, жил бедно, земли у крестьян было немного, и урожаи были небогатые. Поэтому в холода половина Покровского прихода просят у своего дьячка хлебушка, и никому он в своей помощи не отказывал.

Время шло. Николай Петрович старел. Работать становилось трудно, захотелось отдохнуть на старости лет. Теперь дает свою землю крестьянам в аренду.

За простоту и доброту его любил весь приход, но особенно был ласков дедушка Николай к деткам, недаром они звали его своим дедушкой. Когда Николай Петрович остался один и особенно когда перестал пахать землю, все свое время он стал проводить с малыми ребятами.

Бывало, летом, в воскресенье, кончится обедня — пойдет Николай Петрович домой и скажет ребятишкам:

— Завтра утром за грибами.

На следующий день батальон маленьких грибников собираются в лес. В одних сорочках, босиком, с непокрытыми белыми и русыми головками встанет маленькая армия перед дедушкиным домом и ждет не дождется, когда он поведет ее в чащобу. У всех в руках корзинки, а у некоторых еще из-за плеч выглядывают головенки маленьких сестренек и братишек.

Шум! Веселье! Ждут своего полководца. Выйдет на крыльцо Николай Петрович в стареньком, подпоясанном кушаком кафтане, с заплетенными в косичку седыми волосами, осмотрит босоное войско, скинет шапку и, помолившись на церковь, скажет:

— С Богом!

Рассыпается по дороге мелюзга, поднимая пыль. Одни — в догонялки. Другие наденут на головы корзинки и бегают вокруг дедушки. Третьи тащат на плечах своих маленьких братьев и идут потихоньку вместе со стариком.

Не любил Николай Петрович, чтобы ссорились или обижали друг друга ребята. Поэтому редко случалось, чтобы кто-нибудь пожаловался ему на обиду, и сам он зорко следил, чтобы все было мирно в его отряде.

Кто быстрее добегал до леса, тот не заходил туда раньше других, а дожидался, пока не придут все, потому что такое уж было правило.

А лес был высокий, березовый. Деревья стояли друг от друга довольно далеко и только вверху сходились вместе ветвями. Поломанных веток и хвороста почти не было в этой как будто посаженной роще.

Землю покрывал мягкий ковер из опавших листьев, так что можно было ходить босым, не опасаясь поранить ноги.

У леса дедушка Николай садился со своими маленькими товарищами на опушке, отдыхал немного и потом делил толпу на две части. Одна половина — мальчики и девочки постарше — должна была идти по одной стороне, без старика. С теми же, кто помладше и кто нес за плечами совсем малюток, отправлялся он сам.

Лес оглашался звонкими и радостными ребячьими голосами. Один кричит: «Дедушка, я боровик нашел, да какой маленький». Другому попался белый гриб и он спешит со всех ног показать свою драгоценную находку Николаю Петровичу. Малыши еще не знают, какие грибы нужно собирать и поэтому подходят к своему руководителю, показывая ему свои «мухоморы».

Громкое ауканье между старшими и младшими продолжалось до самого конца леса. Обыкновенно старшие проходили свой путь быстрее и поджидали дедушкину часть, сидя на противоположной опушке.

Когда наконец все соединились, то назад шли уже по середине леса — все вместе.

Старик ходил не торопясь, старался осматривать каждое дерево и наполнял свою корзину быстрее всех. Грибы, которые попадались ему после, он клал в корзины самых маленьких

детей, так что на выходе из леса и у них набиралось достаточно. Обойдя целую рощу, маленькие грибники снова садились на ее краю и накрывали свои корзины от солнца свежими ветками и травой. Отдохнув немного, толпа направлялась домой.

Шли уже потихоньку и хвастаясь, кто сколько нашел «коровок», «двоенок» и «троенок». На полпути протекала неглубокая речка, в ней всегда купались, на одном и том же неглубоком месте, которое даже прозвали Иорданью.

Самой интересной была остальная часть дороги. Николай Петрович любил на обратном пути рассказывать своим маленьким товарищам какую-нибудь историю из жизни Иисуса Христа и Его апостолов.

— Ну, мелюзга, — говорил он обыкновенно, — что же вам рассказать сегодня? Да вот скоро будет праздник Преображения Господня, про него я и скажу вам.

— Иисус Христос, — начинает Николай Петрович, помолчав немного, — взял с собой однажды трех Своих любимых учеников: Петра, Иакова и Иоанна — и пошел с ними на гору Фавор. Дело было вечером, а когда взойшли они на вершину горы, наступила уже темная ночь. Там Иисус Христос стал молиться на самой вершине горы, а ученики остались немного пониже и заснули, потому что они очень устали.

— Отчего же, дедушка, они так устали? — спрашивает белоголовый мальчуган, идущий со стариком рядом. — Мы вот в Борисовскую гору ходим, да не больно устаем.

— Ну, милый, велики ли наши горы, — отвечает старик. — Ведь Иисус Христос жил не в нашей земле, а в Палестине. А там горы большие, версты по три и больше, так поневоле устанешь, когда взойдешь на такую высоту. Вот и апостолы сильно тогда утомились и уснули, пока Иисус Христос молился. Когда же они проснулись, то увидели, что Господь преобразился. Его лицо сияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег. Увидели апостолы, что Иисус Христос был уже не один, а беседовали с Ним еще два мужа, Моисей и Илия. Ну-ка, Ванюша, скажи, кто такой был Моисей?

— А это был еврейский пророк, который перевел народ через море, — отвечает бойкий мальчик.

— Да, Моисей был пророк, — продолжает дедушка, — и жил он гораздо раньше Иисуса Христа и задолго до Него умер. И Илия был также пророк, он был взят живым на небо, знаете ведь это?

— Да, да! — хором кричат ребята. — На огненной колеснице и огненных конях.

— Мама говорила мне, — заявляет тут девочка, — что когда загремит гром, так это пророк Илия ездит по небу на колеснице.

— Ну уж мама-то тебе неправду сказала, — говорит Николай Петрович. — Зачем это будет пророк Илия ездить по небу, подумай.

— А как же, дедушка? — спрашивают его. — Отчего же гром-то гремит?

— А отчего он гремит, я и сам не знаю. Знают вон, да нам с вами не понять этого. Только пророк-то Илия не ездит на колеснице, вы уж и не думайте этого.

Так, слушая рассказ и перебивая его своими замечаниями, незаметно доходят они до села.

Дома у Николая Петровича обычно уже готов большой самовар. Он раздевается, заваривает чай и достает из шкафа все чашки, какие у него есть. Несколько человек, сначала самые маленькие, получают по чашке чая и по кусочку сахара и пьют, с непривычки обжигаясь. После них пьют другие, и таким образом все выпивают свою долю, а потом, снова взяв лукошки и корзинки и поблагодарив доброго Николая Петровича, отправляются по домам.

Зимой дедушка Николай устраивал в своем доме школу. Изба была у него простая, деревенская, но большая и просторная, так что учиться ходило к нему человек пятьдесят мальчиков и девочек. Учил Николай Петрович грамоте так же, как его самого учил отец, по-старинному:

— Буки-аз-ба, ба! Ве-ди-аз-ва, ва! — слышится под окнами стариковского дома.

Это дедушка заставляет своих учеников читать хором. После складов у него учились писать, читали «Родное слово» и другие книжки, оставленные Николаю Петровичу его братьями.

Первую зиму читали и писали по-русски, а со второй садились за Псалтирь и начинали прямо с чистописания. Кто неделю хорошо учился, тому дедушка позволял в воскресенье читать в церкви. Сколько было радости и веселья у тех, кому выпадала эта честь.

И крестьяне особенно любили Николая Петровича за то, что он заставлял их детей читать ясно и толково, так что можно было разобрать каждое слово, произносимое звонким детским чистым голосом. В пении на клиросе участвовали обычно все мальчики из прихода, но на сам клирос дедушка Николай выбирал только тех, кто умел хорошо читать по-славянски и мог петь вместе с ним по книге. Остальные теснились около клироса и пели лишь то, что знали наизусть.

Любили ходить в церковь крестьянские мальчики. Просили обязательно разбудить их к заутрени, и сколько слез было, если эти просьбы не исполнялись. В промежуток между утреней и обедней изба Николая Петровича обычно битком набивалась крестьянами. Накануне он выбирал тетради тех из своих учеников, которые особенно успевали в письме, и самые лучшие работы прибавал к передней стене избы, чтобы можно их было видеть всем, кто приходит. На задней стене помещались неряшливые работы. Этого наказания боялись ученики Николая Петровича больше всего.

— Поди ты, какая вон шустрая, видно, растет Анютка Ивана Егорова, — рассуждают иной раз в избе дедушки Николая мужички. — Опять на переднюю стену попала.

— А кто это, — спрашивает другой, — читал сегодня кафизмы? Никак, тетки Дарьи Васютка? Ловко читает.

Так слава хороших учеников и учениц Николая Петровича разносилась по всему приходу. Радовались успехам своих деток родители, но еще больше радовались им сами ученики, и школа дедушки Николая с каждым годом только расширялась.

Поэтому он вынужден был учить каждого человека недолго: только по две зимы, а иначе не хватило бы в его доме места. Однако и за этот короткий срок все его ученики обучались хорошо читать по-славянски и по-русски, умели писать и много знали из Священной истории, которую старик рассказывал ребятам при всяком удобном случае.

Так проводил Николай Петрович свою жизнь, так он проводил и эту зиму. Вчера он распустил школу на неделю — до Нового года.

Сегодня сочельник, канун великого праздника Рождества Христова, и с завтрашнего дня придется старику ездить со своим батюшкой по приходу — Христа славить. Старая Матрена, работница Николая Петровича, жившая у него уже двадцать лет, вымыла пол в избе и накрыла подстилками. После обедни старик сходил в баню, полежал немного на полотах, пока не стемнело, и теперь в белой рубашке, с заплетенной косой, сидит за столом у кипящего самовара. Дедушка Николай строго соблюдал святой старинный обычай — не есть в сочельник «до звезды», и действительно, еще ничего не ел и даже не пил чаю, до которого был большой охотник. Любил Николай Петрович святой вечер, и теперь вспоминается ему давно уже прошедшее время, когда он еще мальчиком приезжал на Святки домой из училища и с нетерпением ждал, скоро ли появится на небе первая звездочка и можно будет сесть за ужин, в конце которого подавалась сладкая кутья. Позднее, когда он сам уже стал хозяином дома, то и тогда с нетерпением дожидался праздника, потому что в это время приезжали из города его братья и приносили с собой в старый дом веселье.

Каждый раз вспоминаются ему старые времена и каждый раз становится на душе его печально, но вместе с тем и хорошо.

Тепло в избе у дедушки Николая. Попил он чай, по обычаю поел пшеничной с медом кутьи и, засветив перед старинными темными образами лампаду, загасил лампу. Долго еще белелась при скудном свете лампы фигура Николая Петровича, совершавшего свою вечернюю молитву. С молодых лет привык он читать перед сном все положенные молитвы. Наконец лег и уснул старик. Успокоилось и все село. Только бесчисленные звезды трепетно сияли там, где-то высоко-высоко на небе.

Ночь стояла тихая и морозная. Всякий звук, раздававшийся на улице, — потрескивание мороза, лай собаки или крик петуха, — разносился далеко.

В это время на краю села, в маленькой, покосившейся хатке гостит страшная беда. Жила здесь уже немолодая вдова — тетка Василиса с тремя детьми. Старшему сыну, Васе, было двенадцать лет, дочери девять, а младшему, Пашутке, только два годика.

Иван Трофимов, муж Василисы, летом ушел на железную дорогу работать, да так и не вернулся. Товарищи рассказали, что простудился он на постройке моста и отдал Богу душу. Осталась тогда Василиса одинешенька со своими детками и пришлось бы ей пойти по миру, если бы не добрый Николай Петрович. Вот уже с самого начала Филипповок нет у нее хлеба, а печет она из муки, которую дал ей старый Петрович.

И сегодня он позаботился о них: прислал со своей Матреной блюдо пшеницы и чашку меда, чтобы варила бедная вдова своим деткам кутью, а в лукошке, поставленном старухой на лавке, оказался кусок баранины да горшочек масла. Не заметила в тот вечер Василиса, как упал у нее на солому уголь с горящей лучины, когда ходила она к корове на двор. Спит она теперь, довольная, что по милости Николая Петровича будет завтра чем разговеться ей с детками, спит и не чувствует того, что делается у нее на дворе.

Маленький уголек, отскочив от лучины, не погас, стала тлеть солома. Одна Василисина буренка видела это, но и она не понимала, что ей пришла гибель. Вот светлая точечка перешла с уголька на солому, и блестящая искорка потекла по длинному ржаному стеблю. Затем она перешла на другую соломину, а там пробралась и к целой куче. Вдруг показался маленький синий огонек, и внезапно весь двор осветился. Искры и длинные столбы соломы полетели вверх и зажгли крышу. Забегала по двору корова, испугавшись и отчаянно бросаясь на запертые ворота и стены. Быстро вспыхнула соломенная крыша и осветила улицу.

Потапыч, церковный сторож, хромой отставной солдат, вышел в это время из сторожки, чтобы обойти церковь и отзвонить полночь.

Заметил он пламя на Василисиной крыше и заковылял к веревке, протянутой с колокольни на землю. Зазвенел набат. Проснулись жители села Покровского и, крестясь, надевали на себя что попало, выбегая скорей к горящей избе. Вскочил с теплых полатей своих испуганный страшным звоном Николай Петрович. Взглянув в окно, он сразу заметил, что горит Василисина изба.

— Ох, Господи, согрели мы, окаянные, — шептал он, торопливо надевая полушубок.

«Вытащит ли она ребят-то своих?» — думалось старику, когда он бежал со своего крыльца, стараясь на ходу застегнуть одежду.

Трясущиеся руки плохо слушались своего хозяина, и он все бежал, кое-как запахнувшись шубой. Из всех домов повыбегали мужики и бабы. Первые с топорами и баграми в руках направились к горящей избе, вторые с ведрами бежали на пруд и к колодцу.

Василиса проснулась, когда Потапыч ударил в набат и когда уже весь двор пылал. Зловещий треск горящих бревен и бешеный рев коровы подсказали ей, что страшная беда случилась у нее в доме. Василиса бросилась к маленькому ребенку, спавшему в колыбели, схватила его на руки.

— Вставайте! Горим! Вася, Аннушка, вставайте скорее, — трясла она то одного, то другую.

Увидев, что оба они сели на постели, Василиса кинулась вон. Вася побежал за ней на улицу. В сени уже пробирались горячие языки пламени и жадно лизали старые, почерневшие бревна, а сверху падали на пол горящие головни с крыши. Не оглянувшись назад Василиса и не заметила, что не бежит за ней дочка. Заспавшаяся девочка не проснулась окончательно, хотя и села на постели. Спросонья она ничего не сообразила и снова уснула.

Николай Петрович подбежал к дому, когда только что выскочила из него Василиса с сыновьями. Заметив, что девочки с ними нет, он, не спросив ничего, сам бросился в избу и пробежал в нее уже через горящие сени. Увидев на полу Аннушку, старик осмотрелся, нет ли какой-нибудь шубы завернуть ее, но ничего не нашел. Быстро сбросил он с себя полушубок, укутал в него все еще не проснувшуюся девочку и, подхватив ее на руки, бросился в объятую пламенем дверь. Вспыхнула на старике рубашка, нестерпимо жгло его тело, но не выпустил он из рук своей ноши: только еще крепче прижимал ее к старческой груди и старательно укрывал шубой, чтобы не загорелся сарафан девочки. Когда подбежали мужики и взяли из его рук Аннушку, не выдержал старик жгучей боли и повалился на снег. Стали на нем тушить огонь, сорвали горящие клочья рубашки, покрыли шубами. Не стерпел Николай Петрович и застонал:

— Больно! Отнесите Христа ради домой!

Подняли его два мужика и, точно ребенка, бережно понесли к дому.

— Скажите Василисе-то, — вспомнил дедушка на дороге, — пусть она идет тоже ко мне. Простудятся детки-то. Ох, батюшки, прогневали мы Бога. Васенька-то и без сапог, видно, выскочил.

Маленькая избенка успела уже прогореть, провалился потолок, и теперь можно было не бояться, что огонь перейдет на другие строения.

Николай Петрович чувствовал, что его дряхлое тело не выдержит боли. Когда принесли его в избу, он велел положить себя под образами на лавку и одеть в чистое, новое белье, а Матрену послал за священником, чтобы причастил и соборовал его. Пришла в избу и Василиса с детками. Увидев лежащего на лавке дедушку, одетого в суконный праздничный подрясник, она с плачем бросилась к нему в ноги.

— Кормилец ты наш! — причитала несчастная женщина. — Прости меня, глупую, Христа ради! Не пожалел ты себя...

— Ну, полно, полно, — тихо уговаривал ее старик. — Ты не виновата; так, видно, уж Богу угодно. Отведи вон ребят-то на печку. Озябли, чай...

Пришел отец Никанор, седой, как лунь, священник, бывший немного моложе своего умирающего дьячка.

Всю жизнь прожили старики вместе, душа в душу. Теперь приходилось им разлучаться, так как один собирался в другую, далекую сторону.

— Не поберег себя, Николай Петрович, — грустно сказал отец Никанор.

— Что делать, батюшка, — слабо улыбнулся Петрович, — пожил свой век, будет. Пора и умирать старику. Слава Богу, что приводит Господь умереть за доброе дело. Жалко вот Василису-то: останется без дома.

Причастился Николай Петрович и попросил соборовать.

Изба наполнилась народом. Тесной толпой стояли впереди маленькие ученики Петровича и со слезами смотрели в угол, где лежал их добрый, ласковый дедушка. Закончилось соборование, снял с себя ризу отец Никанор, бережно уложил крест и Евангелие и подошел к старику.

— Ну, прости меня, Николай Петрович, если чем обидел я тебя, — начал он и не выдержал: залившись слезами, опустился перед ним на колени и дрожащей рукой благословил старого товарища.

— Вот что еще, батюшка, — с трудом произнес Николай Петрович. — Домишко-то мой завещаю в церковь. Помяните меня, а пока пусть поживут в нем Василиса с Матреной. Им все отдайте. Жили бы вместе... не ссорились...

Стали прощаться, кланяясь в ноги умирающему, все присутствующие. Старик уже не мог говорить: он только с прежней лаской смотрел на каждого подходившего к его постели. Кончилось прощание.

— Ваня, — чуть слышно прошептал Николай Петрович стоявшему вблизи мальчику. — Спойте тропарь празднику.

Молодые, прерывающиеся от слез голоса запели:

Рождество Твое, Христе, Боже наш...

Светлее и светлее становилось лицо Николая Петровича. Глаза смотрели куда-то далеко.

— Иду, иду, Господи, — произнес вдруг он и, как будто стараясь встать, стал вытягиваться.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.

На колокольне Потапыч ударил к заутрени.

Петропавловский диакон

Обыватели Вологды еще помнят, как по улицам города ходил странный с виду человек. Зимой и летом он был одет в длинный не то подрясник, не то балахон, и был не подпоясанный. На голове — круглая шляпа, из-под которой выбивались русые пряди, бледное лицо, голубые глаза с каким-то особенным блеском. Его прозвали Петропавловским дияконом, потому что в молодости он служил диаконом в церкви святых апостолов Петра и Павла, находящейся на окраине города.

Настоящее имя Петропавловского диакона — Александр Васильевич Воскресенский. Он родился в 1803 году, в семье причетника. Учился Александр Васильевич недолго: он уволился из высшего отделения Вологодского Духовного училища и поступил в писцы духовной консистории. В двадцать лет Александр Васильевич был рукоположен в сан диакона Петропавловской церкви, находящейся на южной окраине города Вологды, где он служил двадцать один год и по болезни вышел за штат. Вот и все, о чем говорит его формуляр.

О жизни Александра Васильевича в годы его службы диаконом в церкви Петра и Павла никто не знает, да никто ею и не интересовался. Он стал известен только тогда, когда стал жить не так, как другие люди.

Случилось его духовное возрождение после болезни, когда он принял подвиг юродства и стал казаться безумным. Многие действительно считали его сумасшедшим. Отца диакона поместили в дом умалишенных. Но он не был на самом деле сумасшедшим: он углубился в свой внутренний мир, и, свободный от всего телесного, его дух витал в высших сферах.

— Бывало, придет к нам отец диакон, — рассказывает одна пожилая женщина, — сядет куда-нибудь в угол и глубоко-глубоко задумается. Мы выходили из комнаты, оставляя отца диакона в покое. И вдруг он очнется, добрый, радостный... «У тебя, мати, хоть подумать можно, — скажет он, — душой отдохнуть».

Помолится, простится и быстро-быстро пойдет. Куда? Бог весть. Отец диакон не расставался с мыслью о Боге. Молитвенное настроение было в его душе господствующим. Верный сын и служитель Церкви, он жил ее жизнью. Песнопения, тропари, стихиры теснились в его сознании, он их напевал своим тоненьким, чистым голосом и часто записывал. Сохранилась пачка листов синей и белой толстой бумаги. Крупным, красивым почерком отца диакона на них написаны церковные молитвы: «Христос воскрес из мертвых», «Рождество Твое Богородице Дево»; тропари святым, например: Иоакиму и Анне, преподобному Ксенофону, святителю Николаю Чудотворцу и другим.

Особенно же любимой его молитвой была: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим».

На некоторых листах вслед за церковными песнопениями проставляется число, год. На других сделаны пометки: «велик день у Господа» или: «велик день у Царицы Небесной, только у меня мал», иногда: «надо отслужить молебен». Эти листы тщательно хранятся его почитателями.

Передавая листы с молитвами благочестивым людям, отец диакон присоединял к ним разные благожелания, тоже письменные.

Вот листок: сверху поставлен крест, за ним четко написана молитва Господня и внизу: «Ангел

Господень да сохранит вас и все ваше семейство» или: «Сохранит вхождение ваше и исхождение отныне и до века».

Случалось, что он дарил своим знакомым рукописи с такими молитвословиями, которые им были особенно нужны в трудную минуту и даже во всей последующей жизни, принося им успокоение и духовную поддержку.

Приходит отец диакон однажды в дом к одной старушке и говорит ей:

— Дай, мати, бумажки.

Она с удовольствием вручает ему чистый листок. Он написал:

«Да будет воля Твоя».

Подав, помолился и ушел. Старушка скоро ослепла и в великом своем горе утешалась верой в Промысел Божий, постоянно с покорностью взывая к Господу:

— Да будет воля Твоя!

Молитвенные порывы захватывали отца диакона в разных местах. Войдет в храм — изольет свою мольбу. Любил старец псалмы Давида, которые так трогают душу, залечивают душевные раны, утишают страсти. Так как в городских храмах иногда пропускалось чтение псалмов, особенно в будни, то отец диакон, бывало, встретится со священником и как бы мимоходом заметит:

— Давида-то забываете.

То вдруг он остановится посреди улицы и начнет молиться, коленопреклоненный.

— В первый раз я увидел Петропавловского диакона, — рассказывает Круглов, — при таких обстоятельствах. Он сидел на берегу реки, окруженный детьми и взрослыми. Я подошел и спросил:

— Что тут такое?

Мне ответил какой-то мужик:

— Это Божий человек молится о нас, грешных.

Я протиснулся через толпу и увидел диакона, стоявшего на коленях и молящегося вслух. Временами он брал в руки камешки, песок и бросал в сторону. Многие, видимо, были довольны, если он попадал в них. Вдруг диакон вскочил и побежал быстро-быстро. Некоторые кинулись за ним.

— Как горячо молился он, — рассказывала жена одного священника. — Я видела отца диакона в Ярославле, куда он приезжал с вологодским священником. Лицо его дышало умилением, озарялось неземной радостью. Надо было видеть его усердие. Горячая молитва старца, верим, доходила до Бога.

— Двенадцатилетней девочкой я заболела тифом, — рассказывает одна женщина, — мать отчаялась и плакала, а отец диакон утешал и говорил матери: «Пойдем помолимся вместе». Помолились пред иконой — и я выздоровела.

Другая почитательница Петропавловского диакона, Грачева, рассказывает:

— Двенадцать лет у меня не было детей. Только бездетная женщина может понять мое горе. Приходит однажды к нам отец диакон, ударил меня по плечу и говорит:

— Детей-то у тебя нет?

— Какие же у меня дети: Господь не благословил, — ответила я с печалью.

Отец диакон ушел в другую комнату и долго там молился перед Царицей Небесной. Потом подходит ко мне, опять бьет по плечу и говорит:

— По вере твоей дано будет.

Вскоре я отправилась к родным и там передала слова отца диакона. Никто не придавал его словам особенного значения. Но я забеременела. Была масленица. Приходит опять к нам отец диакон. Я предложила ему покушать блинов.

— Славные у тебя блины-то.

— Кушай, отец диакон, на здоровье, — усердно угощала я.

— А как звать-то будешь — Федором или Петром?

— Как Бог даст, — сказала я, поняв, что он говорит о будущем ребенке. Накануне праздника первоверховных апостолов у меня родился сын. Назвали его Петром.

Ставя молитву выше всего в жизни, Петропавловский диакон настойчиво убеждал заставлять себя молиться, чтобы достигнуть дара умиления.

— Часто он говорил мне, — рассказывает жена одного диакона, — молись, молись, и ты будешь счастлива.

За помощью к Богу, под покров Царицы Небесной советовал он прибегать при несчастьях.

В Вологде шел крестный ход. Отец диакон подбегает к одному из участвовавших в нем священников и подает ему какую-то записочку. Тот, не обращая внимания на бумажку, бросает ее на землю. Отец диакон не огорчается, но несколько раз громко произносит:

— Помолись Царице-то Небесной.

Вскоре в доме священника случилось горе:

его жена измучилась в родах. В скорби батюшка вспомнил наставление юродивого, отслужил молебен Божьей Матери, и жена его благополучно разрешилась от бремени.

Петропавловский диакон любил людей, жил всегда с ними. Как дитя протягивает руки ко всякому, в ком видит ласку и доброту, так и отец диакон без всяких расчетов, по влечению сердца, тянулся со своею любовью ко всем, кто им не гнушался. Замечали, что он иногда ходил сторонкой, чтобы не встретиться с теми, кто его не любили, пока те не становились в ряды глубоких почитателей старца.

Детская простота отца диакона влекла к нему горожан, даже высокопоставленных лиц. Рассказывают, что один чиновник очень благоволил к диакону, посылал ему подарки, давал

деньги и, когда юродивый приходил к нему, угощал с почтением. Местный владыка с улыбкой выслушивал резкую правду, которую иногда говорил ему отец диакон прямо в лицо. Юродивый был всюду вхож, и это не считалось странным.

— Вот он в семинарии, в старшем классе. Семинаристы окружили его, — рассказывает очевидец. — Я вам тему дам, — сказал отец диакон. — С Небесных кругов слетел Гавриил. Славная тема...

Он был дорогим гостем во многих богатых и роскошных домах, у интеллигентных лиц и в убогой хате горожанина, у простых, у нищих. Для него везде были открыты двери. И везде он один и тот же, не изменяющий своего поведения раб Божий.

Один очень просвещенный человек с воодушевлением свидетельствовал:

— Отца диакона считали сумасшедшим, он казался таким по поступкам, но взгляд его был глубокий и умный, а сердце — прямо золотое. Он искренно утешал несчастных, подкреплял их словом надежды на помощь Божью. Все ему открывали свои горести и печали.

Сердечное участие приносило скорбящим утешение и уладу. Сколько сердечных ран залечил он своей отзывчивостью. В скольких людях поддерживал дух для новой борьбы. Скорбящие верили, что отец диакон поможет им своей молитвой и словом. Они просили отца диакона помолиться за них.

Вот, например, маленький листок бумаги, на нем карандашом печатными буквами написано:

«Отец диакон! Помолись за меня, я скучаю, глаза болят, помолись Богу обо мне, грешной Анфисе».

Отец диакон чувствовал, где особенно нужна его духовная помощь. Вот рассказ одной женщины, свидетельствующий о любвеобильном сердце отца диакона:

— В один год у меня умерли мать и муж. Я осталась вдовой в двадцать четыре года. Чувствовалось томление духа и страх перед будущим. Отец диакон явился истинным помощником в моей скорби. И ранее нередко бывавший у нас, он теперь стал неизменным посетителем. Идешь, бывало, с кладбища, он уже тут: или дожидается на крыльце, или сидит за самоваром... Тяжело положение молодой вдовы, особенно в прежнее время — слышишь только пересуды да разговоры. Хотелось самостоятельно добывать себе средства к жизни, и я выбрала акушерский труд, задумала учиться. Но меня только осмеивали все знакомые. Отец диакон поддерживал мой дух. Когда чувствовалась потребность поговорить, и угнетало одиночество — появлялся отец диакон. Он утешал, ободрял, и горечь обид пропадала. Часто твердил он мне с силой в голосе:

— Не унывай, не падай духом.

Он ласкал меня с отеческой нежностью, заботился обо мне, как о дочери, и называл себя моим попечителем. Я жила в маленькой квартирке, за стеной помещалась другая квартирантка. По свойственному женщинам любопытству она следила за мной, за моей жизнью, за знакомыми, гостями. Однажды она не заметила, кто вошел в мою комнату, и, услышав мужской голос, загорелась любопытством. Войти в комнату соседка постеснялась, и поэтому она послала своих детей подсмотреть. Произошло необычайное. Всегда мягкий и кроткий, отец диакон, увидев детей, взволновался, закричал на детей.

— Ей бы самой за собой смотреть, — кричал он, возмущенный подсматриванием, — а не за

другими. Я буду твоим поручителем.

Отцу диакону открывали то, что было на душе, прямо, чистосердечно исповедовались в своих грехопадениях, делились радостями, намерениями, желаниями. Почитатели верили, что раб Божий укажет средство избавиться от гнета страстей, по крайней мере, скажет свое откровенное и меткое слово.

В судьбе некоторых отец диакон принимал горячее участие, так что без его совета те не предпринимали ничего важного в своей жизни. Благословенье старца было главным мотивом.

С благоговением, бесконечной благодарностью вспоминает о Петропавловском диаконе нынешняя игуменья Успенского монастыря. Их дом был в приходе Петра и Павла.

— Еще маленькой девочкой, — рассказывает нам матушка, — я чувствовала влечение к отцу диакону, который служил в приходе, где жили мои родители. Когда отец диакон находился в доме умалишенных, отец мой собрался однажды навестить больного. Не удержалась и я, пошла с отцом. Отец диакон все время разговаривал с нами вполне здраво: он не был сумасшедшим. Я хорошо его запомнила. В двадцать лет я поступила в монастырь. Жила на нижнем этаже игуменского корпуса. Замечательно, что отец диакон с самого начала моего поступления в монастырь стал звать меня «игуменьей», предрекая мою будущую должность.

— Откуда это ты, отец диакон? — встречает келейница тогдашней игуменьи неожиданно появившегося в ее покоях гостя.

— От игуменьи (будущей) к игуменье (настоящей).

Являясь ко мне, он утешал, ободрял меня, был мне незаменимым мудрым советчиком. Мне пришлось перейти из Вологды в Ярославский Казанский монастырь. Там я прожила семь лет. Однажды летом отец диакон приезжает в Ярославль:

— Царица Небесная! Обрящи мне Раису, — громко говорил он, идя по двору монастыря, где я жила.

Необыкновенный вид старца, его блестящий взор, его вопль: «Царица Небесная! Обрящи мне Раису» (мирское мое имя), невольно обратили на него внимание сестер. Многие из них вышли и окружили юродивого. Заметив в монастыре необычное оживление, я посмотрела в окно и вижу: отец диакон из Вологды. Как? Какими судьбами?

— Вот, Царица Небесная обрела мне Раису! — радостно воскликнул он.

Прощаясь с нами (в монастыре были и другие сестры из Вологды), он говорил:

— Скоро приеде, вологжанки.

Эти слова нам тогда казались странными, потому что мы не собирались уезжать из Ярославля. Но отец диакон говорил ясно. По возвращении из Ярославля он и моей матери подтвердил, что я вернусь сюда, что в Успенском монастыре я уже записана. Действительно, по неисповедимым судьбам Промысла на следующее лето я перебралась вновь в обитель, где положено было начало моей иноческой жизни.

Перед пострижением иногда чувствуется томление духа, внутренняя борьба, открывается величие подвига и слабость сил для несения его, страх перед будущим. Когда настоятельница монастыря предложила мне готовиться к пострижению, это томление испытала и я. Не

решалась я принести обеты Господу. Матушка игуменья несколько раз повторяла свое предложение.

— Спрошу у отца диакона, — отвечала я, — что он скажет, без его благословения не могу решиться.

Отец диакон, как нарочно, не показывался в монастыре. Но вот он пришел. Я поделилась с ним. Вскипятился отец диакон, таким я не видала его никогда.

— Вон из стен монастыря тебя гнать надо! — горячился он. — Если предлагают, значит, воля Божья.

Его слово разрешило все мои сомнения. Легко жилось при таком добром человеке.

— У Пятницкой церкви в Вологде, — рассказывает один священник, — был дом сирот диакона Ермолова. В соседнем доме начался пожар, который угрожал дому Ермоловых, казалось, дом неминуемо должен был сгореть. Но подходит Петропавловский диакон.

— Надо, — говорит, — отстоять сиротский дом, — отходит в сторону и начинает молиться.

Через несколько минут является к пожарным какой-то господин и убедительно просит отстоять дом. На дом натянули паруса, и дом уцелел.

А вот рассказ одной дамы, детство которой неразрывно связано с Петропавловским диаконом:

— После отца нас осталось шесть сестер. Отец диакон любил всех сирот. И часто нас навещал. Войдет в комнату и усердно помолится, иногда споет какое-нибудь церковное песнопение, потом вынимает из карманов своего балахона булки, конфеты. Положит гостинцы на стол, соберет нас, детей, вокруг себя.

— Садитесь, садитесь, сиротки, — говорит он и угощает нас булками и конфетами.

Мы сначала побаивались отца диакона, а потом полюбили и с радостью встречали его. Перед уходом опять помолится. Дом наш стоял на углу улицы. Мы видели, что когда отец диакон проходил мимо нашего дома, то всегда брал что-нибудь с земли и кидал на стены дома, как бы от чего-то ограждал его.

Петропавловский диакон становился очень нежным, когда к нему подводили детей. Он крестил их, ласково гладил по голове. Действительно, с детьми он имел много общего: открытость, простоту, незлобивость. Он не мог смотреть на них без умиления, дарил им булки, гостинцы. Испорченные дети оскорбляли его, гонялись за ним с комьями грязи и камнями. Делали они это из-за невоспитанности или по подстрекательству взрослых, считавших отца диакона сумасшедшим. Раб Божий к обидам относился равнодушно: он был точно мертвый, потому что смирил себя, зная, что смирение есть верный путь к очищению сердца, а чистых сердцем убажует Господь, обещая, что они Бога узрят. Отца диакона часто окружали нищие.

— На, отец диакон, возьми пирог, покушай, — предлагала ему добрая женщина.

— Не могу.

Однако взял и ушел. Смотрят — отдал пирог нищему. Нищие толпой бросались к отцу диакону, он всегда был готов отдать им последнее.

Отец диакон хорошо знал, что самый бедный не тот, кто стоит с протянутой рукой, а тот, кто не может даже просить милостыни. Ему известны были чердаки, где царила вопиющая бедность. Туда старец спешил с помощью, для них он даже просил денег у благодетелей.

А скольких, подобно святителю Николаю милостивому спас он от разврата через благовременную помощь. Кстати сказать, он болел душой за тех, кто уничтожал свое нравственное чувство удовлетворением плоти. Нередко видали его около «веселых» домов умоляющим входящих туда оставлять свое намерение. Бывало, что за добрый совет ему платили руганью и побоями.

Веря, что деньги будут унесены туда, где они нужны до крайности, добрые люди давали ему свои лепты. Юродивый любил дарить своим знакомым святые иконы, при этом замечали дивное. Встретился однажды Петропавловский диакон матери купеческой жены и вручил ей икону Николая Чудотворца со словами:

— Возьми, мати, да только смотри не наряжай.

То есть не делай на икону дорогой ризы. Родители подаренной иконой благословили сына. Сын пил вино. Бывали такие ужасные моменты, что организм требовал водки, а денег не было, и пьяница решался продать икону — родительское благословение. Но без ризы она не имела цены: никто ее не покупал. Так благословение матери и сохранилось у жалкого сына.

Сам себе отец диакон не угождал. Что ему надо было? До конца жизни юродивый жил в своем маленьком, низеньком, с окнами, вросшими в землю, домике, находившемся за городом, за тюрьмой. Приобретения для отца диакона не имели никакого смысла. Он явил себя настоящим бессребреником.

Не затемненные пристрастием к земным выгодам, не помраченные самолюбием, злобой духовные очи его не только видели ближайшее, но проникали вдаль, в глубину людских сердец. Случаев, в которых ясно открывается дар прозорливости этого старца и когда вполне исполнялись сказанные им слова, так много, что перечислить все эти случаи нет возможности. Вот некоторые из них:

— У одной женщины, жившей на набережной в своем маленьком, дряхлом домике, собрались гости на день рождения хозяйки. Стояла июльская жара. Гости сидели и пили чай. Вдруг вбегают в комнату Петропавловский отец диакон.

— А, гости, гости, — говорил он, — ну, и я пришел к тебе в гости, угощай, угощай... Что у тебя есть-то?

Хозяйка очень уважала Божьего человека и потому очень обрадовалась его приходу. Она засуетилась, угощая диакона и чаем, и пирогом, предложила и наливки.

— А и выпью, выпью, ты думаешь, не выпью? А выпью, я ведь люблю выпить, ой как люблю.

Он захохотал, принимая рюмку из рук хозяйки.

— Кушайте во здравие, батюшка, — от души сказала женщина.

Но отец диакон вдруг словно чего-то испугался и, вылив вино на стену, воскликнул:

— Ай и жарко же, ой как жарко.

Он даже закрыл лицо руками. Все были изумлены словами юродивого и, не понимая их смысла, молча, глядели на него. А он постоял так с закрытым лицом и обратился к хозяйке:

— А поди, хотела бы, чтобы я тебе подарочек дал?

Хозяйка ответила ему:

— Батюшка, какой мне от тебя подарок, и то подарок, что пришел ко мне в такой день, за это благодарю.

— А я тебе все-таки подарю, подарю, и знаешь, что подарю?

Женщина молчала.

— Ты вот меня угостила, а я не подарю, как можно. Я тебе дом подарю, маленький, а все же дом.

— Батюшка, это как же так: значит, я помру скоро? — спросила женщина, понимая под словами «маленький дом» — гроб.

— Поживешь, поживешь, — ответил отец диакон, — я тебе вот этот подарю, в котором ты живешь.

Женщина подумала:

«Этот дом и так мой, зачем его еще мне дарить», но она не посмела сказать этого отцу диакону, а поклонилась и сказала:

— Благодарю за подарок, батюшка.

Отец диакон засмеялся и сказал:

— За твою доброту ко мне дарю, а ты не думай, что если твой, так и дарить нечего.

Он вынул две копейки, бросил их на стол и выбежал из комнаты. Что это значит, никто из гостей не мог понять.

Первая же ночь все объяснила. В полночь в той слободе, где стоял дом женщины, произошел пожар, спаливший двадцать домов, но дряхлый домишко бедной почитательницы юродивого остался цел, хотя на него пожарные меньше всего обращали внимания, занятые спасением домов богачей. Юродивый действительно подарил женщине дом, который, хотя и был ее, но которого она могла лишиться.

Вот еще два факта, которые говорят о прозорливости старца, рассказанные нам одним свидетелем:

Я шел куда-то с товарищем гимназистом. Нам попался навстречу отец диакон. Товарищ издали увидел юродивого и сказал мне:

— Вот и дурачок-святоша бежит.

— Почему ты так его называешь? — спросил я.

— А что же, не святой ли, по-твоему? Ах ты, кумушка-голубушка.

Я еще не успел ничего ответить товарищу, как отец диакон был уже перед нами. Он снял шляпу, поклонился низко мне и сказал:

— Поздравляю, поздравляю с царскою милостью; тебе радость и матери помощь.

Я удивленно посмотрел на юродивого.

— Не понимаю я вас, — сказал я.

— И я не понимаю, — ответил отец диакон.

— Нам, дурачкам и кумушкам, где же понять... спроси у него, умника, — отец диакон ткнул пальцем в товарища, — он все объяснит, а ты помолись за него, когда он во тьму сядет.

С этими словами он побежал от нас, помахивая по обыкновению обеими руками. Я был озадачен словами отца диакона, хотя и не понял их. Меня удивило одно: он повторил слова товарища: «дурачок» и «кумушка». Как он мог это узнать? Затем он, очевидно в насмешку, назвал товарища умником; но какая царская милость, в какую тьму идет мой товарищ? Не знаю, как подействовали слова отца диакона на товарища, но он не показал своего смущения и повторил резко:

— Воистину сумасшедший... что нагородил: «Царская милость».

Но все слова отца диакона скоро объяснились. Через месяц я получил казенную стипендию, которая была, конечно, моей матушке помощью. Понял я потом и предсказание относительно товарища, но уже много лет спустя: он сначала ослеп, а затем сошел с ума.

После этого случая прошло два года. Дело было перед экзаменами. Я сильно боялся математики. Рано утром я шел в гимназию со страхом и трепетом. У Красного моста попадается мне отец диакон.

— Бог в помощь, — говорит он. — Не бойся холода, не бойся, надень штаны теплые, и хорошо будет. И лихорадка пройдет.

Я не понял совета, но, помня прошлое, решил, что это слово что-нибудь означает. А отец диакон убежал.

В гимназии я передал слова отца диакона одному своему приятелю.

— Знаешь, что это значит? — сказал приятель, веривший в праведность отца диакона.

— Не знаю. А ты как думаешь?

— Может быть, ошибаюсь, но, должно быть, тебя спросят Пифагорову теорему, что мы зовем Пифагоровыми штанами.

Мне показалось такое объяснение невероятным: откуда юродивый это знает? Однако я выучил эту теорему. И что же? Приятель оказался прав. Меня спросили именно этот вопрос. Я ответил хорошо и получил переводной балл.

Вот еще один факт:

У одной старухи был огород. Только им и жила: сама кормилась и двух внучек содержала. Однажды она сидит в огороде, тут прибегает юродивый, отец диакон:

— Что пригорюнилась? — говорит он. — Нечего кручиниться, надо капусту спасать.

— От кого, батюшка?

— От врагов, от губителей.

— Да как спасать-то, и что за враги?

Отец диакон начал бегать по бороздам и плевать на гряды.

— Батюшка, да что же ты делаешь? — обиженно воскликнула старуха. — Я трудилась, трудилась а ты всю капусту мою заплевал.

— Врагов надо прогнать, вон их сколько. — И он опять начал плевать на гряды.

Тогда старуха рассердилась и прогнала юродивого из огорода.

— Вишь, что выдумал, — говорила она, — начал мою капусту оплевывать, а еще, говорят, праведник. Хорош праведник — просто блажной какой-то.

И что же? Появился червь на огородах, который все овощи поел. У старухи погибла вся капуста, а те гряды, которые оплевал отец диакон, червь не тронул, и на них капуста уродилась на диво. Поняла все старуха, да было поздно.

— Если бы я тогда догадалась, грешная дура, так не то чтобы гнать Божьего человека, а просила бы его, хоть на меня плюй, да сохрани капусту.

Над старухой смеялись. А она после этого стала большой почитательницей отца диакона.

Пантелеев в своих «Ранних воспоминаниях» пишет о Петропавловском отце диаконе:

«Он не ходил в рубищах, не произносил грозных речей о грехах мира сего, не творил чудес, не исцелял больных. Его слава держалась на том, что он — прозорливец, и эту славу он сохранил до конца дней своих. Случались у матушки тяжелые недели, не было никакого заработка, тогда хлеб да горячая вода с солью заменяли наш обед. Но вот однажды матушка приходит с рынка в приподнятом настроении. Она встретила в рядах Петропавловского отца диакона.

— Сам ведь меня остановил, дал вот эту просвиру да и говорит: «Трудишься, вдовица? Трудись, Бог любит труд и сторицею воздаст за него», — говорила тогда матушка.

Был такой случай:

Калачник неудачно торговал на рынке. Ничего почти не продал и с огорчения хотел уже идти в трактир. Отец диакон как раз ему дорогу переходит.

— Отец диакон! Мое почтение, — приветствует его калачник.

А тот ему в ответ:

— Везде благодать Божья, везде Его попечение о трудящихся и обремененных.

«Хорошо сказано», — подумал калачник и вместо трактира направился домой и в этот же вечер наловил почти полное ведро рыбы.

— Прозорливец, одно слово, непременно, как попадетсЯ, на свечку ему подам: угодный Богу человек, — говорил после этого калачник.

Один торговец, человек степенный, вдруг ни с того ни с того затосковал, стал пить и быстро пропил весь товар, а потом стал нищенствовать. Словом, совсем опустился человек. Жена его, испробовав все способы помочь горю, осаждала отца диакона просьбами помолиться за ее мужа.

— Молюсь, — отвечал отец диакон, — молюсь в храме Божьем, молюсь на распутье, но мера взыскания Господня еще не исполнилась.

Бедная женщина еще пуще загоревала, думая, уж не ждать ли ей чего-нибудь еще худшего. Между тем муж ее вдруг исчез из города и ни слуху ни духу о нем не было. Стали думать, не ушел ли он к староверам, в какой-нибудь дальний скит. А если туда ушел, так оттуда люди уж не возвращаются домой.

Прошло более двух лет. Жена не знала, молиться ли ей о здравии или за упокой раба Божия Петра. Но вот однажды она встретила отца диакона.

— Взглянул на меня, — рассказывала она, — и сказал: «Угодна Богу сердца сокрушенного молитва, и в раны его влагает Он Свой перст животворящий». А потом вынул из платочка просвирку и дает мне. Заздравная часть вынута из нее за раба Божия Петра. И сделалось мне как-то легко. Значит, жив мой Петр, если прозорливец за здравие его молится. Было это вскоре после Ильина дня, не выходят у меня из головы слова отца диакона, и просвирку его берегу, поставила к образам.

Вот в Успеньев день встала я рано, тороплюсь до начала поздней обедни все сделать. Только успела пирог вынуть из печи, как в соборе ударили к обедне. Стала одеваться, вдруг слышу, кто-то вошел в кухню. Оглянулась, — Петр крестится на икону.

Вот еще случай прозорливости старца, рассказанный женой одного купца:

Когда она была еще девицей, отец диакон часто посещал дом ее матери-вдовы, где всегда его принимали с радушием.

«Месяца за два до моего замужества в наш дом два приказчика принесли деревянный диван, за ними следом шел отец диакон.

— Мати, пусти меня, я отдохну здесь, немного и места-то мне надо, — говорит он.

После этого он стал ходить к нам каждый день. Придет и все прутиком меряет диван, меряет и говорит задумчиво:

— Никак не приходится, как ни померяю.

Меня тогда засватали, но дело что-то не ладилось. Однажды отец диакон является к нам в сопровождении двух приказчиков из мучной лавки.

— Несите диван, — распорядился отец диакон.

На наше изумление отвечал:

— Не тоскуй, мати, в купеческий дом пойдет.

Скоро я вышла замуж за торговца мукой.

Во время эпидемии холеры, ранним утром подошел отец диакон к нашему дому, взял с земли камешек и зарыл его. На верхнем этаже дома жил портной, арендатор, который притеснял мою мать-вдову. Отец диакон встал под окном верхнего этажа и, постукивая палочкой, говорит:

— Шей, голубчик, завтра некогда будет, да надо, голубчик, жить по-Божески — набежит погодка-то сверху да и стряхнет.

К вечеру заболел один из мастеровых. Портному, который вынужден был хлопотать около больного, на другой день действительно некогда было шить. Исполнились слова Петропавловского отца диакона и о погоде. Скоро умер главный наследник дома, половина его, по завещанию, перешла в церковь, и «портного стряхнули сверху», то есть отказали в квартире.

От арендаторов моя мать, скромная женщина, вынесла немало горя в жизни. Один арендатор попался, не хотел исполнить данных им обещаний, — поправить дом. Полы испортились, дом пришел в упадок. Чтобы отказать недобросовестному арендатору, мать несколько раз обращалась к архитектору, просила его освидетельствовать разруху. Тщетны были ее просьбы. Приходит однажды к матери отец диакон и приводит с собой большую собаку.

— Смотри, мать, — обращается он к моей матери, — вот дашь кусок собаке — и идет за мной, а не дашь — облает.

В руке отца диакона был кусок булки. Говорит он эти слова, а сам посматривает то на мать, то на кусок.

«Надо, видно, дать архитектору-то», — сообразила вдова.

Было у нее три рубля, отнесла их, и архитектор приехал вслед за просительницей. В молодости мать моя была крепостная, ее выкупила тетка и держала у себя в услужении. Тетка занималась готовкой можжевельного кваса и торговала им. Молодой девушке-племяннице тяжело жилось, трудов было много, да и обращение тетки было совсем не родственное. Видел это отец диакон. Однажды приходит и говорит тетке:

— Опросил, Опросил (ее звали Евфросинией), пора худые дела бросить, пора Богу молиться. Пойдем-ка на улицу, — позвал он ее. — Посмотри, на востоке свет, а найдет темное облачко, свет и загородит. Пора бросить грех.

Через неделю тетка умерла.

У игуменьи Успенского монастыря Смарагды была любимая послушница-келейница, по имени Руфина. Ее в монастыре недолюбливали. В один из будничных дней отец диакон приходит в келью матушки Назареты, которая в это время пекла хлеб. Не успела она положить горячий хлеб на стол, отец диакон вдруг схватил его.

— Отдай мне! — повелительно воскликнул он.

— Да на что тебе хлеб-то, отец диакон? — возразила монахиня.

— Руфине на дорогу, Руфине на дорогу, — два раза проговорил старец.

— Руфине не отдам, — отрезала Назарета. — Да и зачем ей хлеб-то? Руфину матушка игуменья любит и не отпустит ее она никогда.

Отец диакон все свое:

— Сама уйдет, никто и не увидит, только Александр знать будет, — сказал он.

И что же? Руфина действительно вскоре ушла из монастыря без спроса настоятельницы. Тогда в обители порядки были строгие: без разрешения игуменьи никто из сестер не мог выходить из стен обители. Если бы кто решился сделать это, непослушную задержали бы сестры. Чтобы убежать из монастыря, Руфина прибегла к хитрости. Она упросила или подкупила монастырского кучера, которого звали Александром, увезти ее за ограду обители в большом чане, когда он утром поедет на реку за водой. Никто не знал, кроме Александра, как Руфина уехала на родину. Этот случай прозорливости Петропавловского отца диакона в свое время произвел сильное впечатление на обитательниц Успенского монастыря.

В жизни упомянутой Назареты был такой случай:

Однажды отец диакон пришел к ней с толстой палкой. Посидел, поговорил. Простившись, он пошел, оставив палку в углу кельи. Предполагая, что отец диакон забыл ее, монахиня закричала ему вслед:

— Отец диакон. Палку-то оставил.

— Тебе пригодится, — ответил он и торопливо удалился. Действительно, палка монахине скоро понадобилась: у нее заболели ноги, и она могла ходить по келье, только опираясь на палку.

Одной монахине Петропавловский отец диакон предсказал поступление в Успенский монастырь:

— Родители мои, — рассказывает монахиня, — жили в деревне, приписанной к Гавриило-Архангельской церкви, находящейся вблизи женского монастыря. В юности я не чувствовала влечения к мирской жизни. Когда мне было лет двадцать, сговорились мы, несколько девиц, сходить к Киевским угодникам. Отправились ранним утром. Вдруг откуда ни возьмись отец диакон. Подбегает ко мне и спрашивает:

— Куда собрались?

— В Киев, помолиться, — отвечала я.

— Доброе, великое дело, — похвалил он. — Счастливого пути, — сказал он несколько раз.

Сходили мы в Киев благополучно. Паломничество укрепило во мне желание поступить в монастырь. Мать и хотела бы отпустить меня в монастырь, но дома нужна была помощь. Не знала мать, на что решиться. Идет она однажды из города, видит, у церкви Гавриила-Архангела очень усердно молится Петропавловский отец диакон. Слышала она много рассказов о его даре провидения.

«Спросить бы, что делать с дочерью», — подумала мать, но испугалась, не посмела подойти к отцу диакону и, остановившись, издали смотрела на него. Вдруг отец диакон повернулся лицом к монастырю и стал молиться на главы его храмов. На улице лежали горы камня, привезенные для поправки дороги. Отец диакон схватил один камешек из кучи, находящейся у крыльца Гавриило-Архангельского храма, и бросил его в кучу по направлению к монастырю, потом перекрестился на икону преподобного Сергия, взглянул на мать и убежал. Мать поняла, что надо отдать дочь в «монастырскую кучу», в число сестер. И я живу в обители давно и благодарю Бога за Его милость.

— Петропавловского отца диакона, — рассказывает одна дворянка, — очень почитал мой муж. В его жизни много было случаев, предсказанных юродивым. Особенно замечателен следующий. За два года до нашей свадьбы муж мой заболел, и доктора готовили его к смерти. И действительно, он был настолько слаб, что не мог встать с постели. Приходит навестить его отец диакон и говорит:

— Вставай, хватит лежать.

Тот отвечает:

— Рад бы, но слаб, не могу.

— Полно, будешь ходить, давай сюда твои сапоги.

Прислуга подала старцу сапоги, и на второй же день после этого муж поднялся с постели и стал быстро поправляться. Я была знакома с отцом диаконом недолго. В первый раз я увидела его через три дня после моей свадьбы. Старец любил моего мужа и пришел нас поздравить. Поговорив с нами, он вдруг обратился к моей девятилетней племяннице со словами:

— Скажи от меня поклон твоей бабушке.

Но девочка даже и не знала бабушки, так как та очень давно умерла. Потом отец диакон обратился с просьбой к моей сестре, матери той девочки: — Дай мне, мати, носовой платочек.

И когда я захотела предложить свой, он отказался.

— Я хочу взять от нее, — сказал он.

Тогда для нас это было непонятно.

Через год после тяжелой болезни девочка умерла. Тут мы поняли смысл слов: «Скажи от меня поклон твоей бабушке» и «Дай мне, мати, носовой платочек», — мать горько оплакивала свою дочь.

Помню еще. Мы жили напротив Духова монастыря. Однажды приходит к нам отец диакон, что-то шепчет. Слышно, что молитву, но какую — не разберешь, и все изображает кресты на стене напротив монастыря. Мы не понимали, что это значит. Но, как только он от нас вышел, сейчас же в монастыре загорелась баня, стоявшая как раз напротив, того места, где он чертил кресты. Нас Господь сохранил.

Еще был случай.

В Вологде свирепствовал тиф, большинство больных умирало. В одном семействе заболела девушка без всякой надежды на выздоровление, лекарства не помогали. Петропавловский отец диакон прибегает (он ходил всегда быстро, как бы вприпрыжку) в дом, где жила больная, хватает стакан с лекарством и бросает его в окошко, затем обратился к больной с такими словами:

— Вот теперь ты воскресла, хорошо, что не выпила этого лекарства, а то бы умерла, — а потом быстро убегает в другой дом, к родной сестре больной, стучит снаружи в окно и говорит: — Ваша сестра воскресла и сидит в креслах.

Больная через неделю стала поправляться и скоро выздоровела.

Отец упомянутой больной, дворянин, живший в Тотьме и занимавший должность дворянского заседателя при уездном съезде, получив пансион, переехал со своей семьей в Вологду для постоянного жительство. Старик чувствовал себя совершенно здоровым, ни на что не жаловался. Но, к удивлению его и его семейных, отец диакон два дня ходил около дома, где они жили, вырывал в палисаднике репейник и все кланялся на дома, а потом убегал, несмотря на приглашения зайти в дом.

Через две недели со стариком случился припадок, и он умер.

Нередко Петропавловский отец диакон предсказывал несчастья. Недаром некоторые избегали его, опасаясь услышать что-нибудь неприятное.

Отец диакон любил бывать в женском монастыре.

— Помнится, — рассказала нам одна монахиня, — это было в день посвящения в сан игумены покойной Арсении, к матушке-ризничей, у которой тогда я жила, приходит отец диакон. У матушки сильно болела голова, и она стала жаловаться на это своему гостю. Отец диакон открыл и показал хозяйке нижнюю часть ноги: она вся была в струпьях.

— Отец диакон! Ногу-то надо спуском помазать, — встревожилась матушка. — Тогда болезнь-то и пройдет.

— Нет, в могилу скорее спустят, — а вот землицей с могилы Николая Матвеевича Рынина (известного в Вологде юродивого) надо полечить, — сказал отец диакон.

Вскоре у монахини сильно заболели ноги. Спуск не помогал.

— Были мы с ней, — говорит бывшая ее келейница, — на могиле Николая Матвеевича, пели панихиду, взяли песочку, больная лечила им ноги и почувствовала облегчение. Но пожила она не долго. От этой болезни ее и в могилу и опустили.

— Давненько это было, — рассказывает одна благочестивая женщина. — Сидел отец диакон у торговца, с ним вместе в гостях был священник отец Андрей. Гости кушали пирог. Отец диакон поворачивается к отцу Андрею и говорит:

— Будет, батюшка, пироги-то есть, пора бы блины.

В скором времени у отца Андрея умерла жена.

Один горожанин выстроил новый дом и пригласил на новоселье отца диакона, которого он очень почитал. Отец диакон хвалил постройку.

— Хороший дом, хороший: кто-то жить-то будет, — загадочно прибавил он.

Горожанин умер, а за ним и все его семейство перевелось.

Матери одного нотариуса отец диакон за неделю возвестил ее кончину. Пришел он навестить больную:

— Скоро, мати, увидишь Царицу Небесную, — сказал он, простился и вышел, не затворив двери в комнату.

Печальных случаев он предсказал множество.

Раз идет он навстречу девице, дочери почтового чиновника, и подает ей большую обгорелую корку со словами:

— На, возьми, может, и пригодится.

Действительно, она по выходе замуж всю жизнь провела в нужде.

Если поставит отец диакон крестик из лучинок около какого-нибудь дома или начертит крест углем на дверях, то умирал кто-нибудь в этом доме. Если же бросит палочки, комочки снега во двор, то скарлатина похищала детей. Идет он однажды мимо церкви Всемилоственного Спаса и, закрыв одной рукой лицо, громко повторяет:

— Ой, жарко, ой, жарко.

В той стороне, от которой закрывался отец диакон, ночью сгорела кузница.

Рассказывают, что однажды он обрил себе бороду и голову. Не знали, к чему это. Оказалось — перед наступлением Крымской войны.

Во время холеры, осенью, он, несмотря на холодную воду, бросился в реку и выкупался. Болезнь стала ослабевать.

Интересный случай был в доме почтового чиновника. У него в квартире жил почтальон. Однажды Петропавловский отец диакон пришел к ним. Его пригласили пить чай.

— Нет, нет, — отказывался отец диакон и направился к той комнатке, где жил квартирант. Дома его в то время не было. — Это что за комната? Кто в ней живет? — спросил юродивый.

Ему сказали. Входит он в комнату и молится.

— Царство ему Небесное, хороший был человек, — говорит он.

Скоро хозяева узнали, что квартирант их по дороге в Архангельск умер.

Не раз юродивый предупреждал несчастья, хотя непонятый иногда и не достигал своей цели. В летние дни окна в одной городской квартире на ночь не закрывались. Утром хозяин заметил, что на окне лежат камни. Он сбросил их. На другое утро нашел то же самое.

«Надо последить», — подумал квартирант.

В следующую ночь он долго не спал. И вдруг видит: подходит к окну Петропавловский отец диакон и кладет на окно камешки.

— Отец диакон. Что это ты делаешь? — спросил он.

— Крепче держать надо, крепче.

Но хозяин не обратил внимания на слова юродивого. На следующую ночь квартиру обворовали.

У одной женщины из слободского прихода заболел ребенок. Печальная, она идет по городу.

— Не плачь о маленьком, плачь о большом, — слышит она позади себя голос.

Это говорил Петропавловский отец диакон. Ребенок остался жив, а муж женщины,

находившийся на заработках, умер.

Предвещал отец диакон и радостные события. Однажды он сидел у почитающей его вдовы, жившей у церкви Ильи Пророка. Ее сын, рукоположенный во священники, уехал сватать себе невесту. Хозяйка угощает юродивого пирогом. Тот, отрезая края пирога, складывает их на середину, но не ест.

— Дело слажено, — говорит он.

В то же время жених с невестой молились Богу.

Одному Епископу отец диакон предсказал архиерейство, когда тот учился в пятом классе гимназии. Идет он из гимназии через плац, навстречу — Петропавловский отец диакон, сложив руки для принятия благословения, говорит:

— Благослови, Преосвященный владыко.

— Я — гимназист, — возражает изумленный подросток.

— Все равно, будешь архиереем, — ответил старец.

Отцу архимандриту Заоникиевской пустыни Серафиму старец предсказал о пожертвовании в обитель иконы со Святой Горы Афон и о ее радостной встрече.

— Ты-то встретишь Царицу Небесную, — сказал он отцу Серафиму и запел с умилением: — Достойно есть. А мне не видать, — с печалью заключил он. Действительно, вскоре после смерти отца диакона в Заоникиевскую пустынь пожертвована была икона Божией Матери, писанная на Афоне и торжественно принесенная в обитель.

Однажды мне сильно захотелось сходить на концерт в Дворянское собрание, — рассказывает женщина, поручителем которой считался Петропавловский отец диакон. — Жила я, вдова, у бабушки, своих денег у меня не было, просить не могла. По каким-то делам в тот день ходила я в город.

— Каково, мати, живешь? — спросил попавшийся мне отец диакон.

— Хорошо, — ответила я. — Вот на концерт хочется сходить, да денег нет.

От отца диакона я не привыкла ничего скрывать.

— На, возьми, да не распаковывай до дому, — сказал он, передавая мне маленький сверток.

Я думала, что это деньги, и стала отказываться, но отец диакон настаивал, чтоб я взяла подарок. Разбирало любопытство, что находится в свертке, но все-таки я удержалась, распечатала его во дворе. Там оказалось много сложенных цветных бумажек от грошовых конфет, а внутри узенькая бумажка — билетик со словами: «Вас для любви природа создала».

О концерте сразу забыла. Но что за смысл поступка отца диакона, рассказчица не смогла себе объяснить. Мы думаем, что прозорливый отец диакон указал ей на будущее: не развлечения и удовольствия, не материальное достоинство ожидало ее в жизни, а заботы о многочисленных детях в приюте, на воспитание, на уход за которыми она положила свое сердце, заменив каждому из них родную, добрую мать.

Один крестьянин не любил подавать милостыню бедным и сильно бранил своего брата,

жившего вместе с ним, за его помощь просившим подавание. Однажды он сильно отругал брата за то, что добрый брат дал бедняку пятачок. Вскоре после этого скупой брат заехал в Вологду для продажи муки. К нему подходит отец диакон и говорит:

— Ты ведь только братними пятачками живешь.

Крестьянин остолбенел. Отец диакон никак не мог знать о ссоре с братом из-за пятачка.

Отец диакон, почувствовав приближение кончины, многим открывал это. Одному нищему отдал свои сапоги.

— На, возьми, мне их более не надо, — сказал он.

У небогатого горожанина просил купить ему дом.

— Денег у меня таких нет, — извинялся тот.

— Маленький мне дом-то надо, — таинственно говорил юродивый.

За несколько дней до смерти Петропавловский отец диакон приходит к настоятельнице Успенского монастыря Арсении и просит игуменью пустить его в обитель пожить. Удивилась матушка.

— Какой ты, право, отец диакон: знаешь, ведь, что по иноческим уставам мужчине в женском монастыре нельзя жить.

— Ты, мати, не смущайся, я буду спокоен. Да и места мне немного надо: встать да лечь.

После визита к игуменье он отправился к алтарю теплого храма и у могил упал на землю, пролежав там несколько минут. На том месте впоследствии его и похоронили.

Умер отец диакон 24 октября 1876 года. Весть о смерти раба Божьего быстро разнеслась по городу. Немало горячих и чистых слезинок скатилось с ресниц добрых людей. К маленькому домику потянулся народ. Погребение отца диакона было торжественно. С духовенством, во главе с Преосвященным Феодосием. Гроб сопровождал народ, по пути от Петропавловской церкви до женского монастыря толпа росла. Тело отца диакона, по свидетельству очевидцев, было как восковое, лицо как у мирно спящего. На месте погребения юродивого стоит скромный крест. Перед ним горит неугасимая лампада, зажигаемая по усердию его почитателей.

Знающие о Петропавловском отце диаконе преклоняются перед могилою этого истинного учителя жизни, искавшего правды Божьей, которая проступала через его телесный покров, проникая как светлый луч в души людей, зажигая в них искры добра. Некоторые вологжане, живущие далеко от родины, бывая здесь, служат на могиле юродивого панихиды, вспоминая о нем с самым теплым чувством. Приходят к могиле отца диакона помолиться из глухих мест и те, кто не знали похороненного здесь старца, но слышали о нем.

Тайна священника

Отец Иоанн пользовался искренним уважением жителей города. Он отличался смирением служителя Божьего и достоинством христианского пастыря. В делах житейских был кроток, а в делах своего священного служения ревностен. Он горячо любил свой храм, старательно украшал его, входил в него всегда с радостью и благоговением. И вдруг обрушилось на него несчастье.

Однажды зимой по городу пронеслась страшная весть об убийстве помещика Иванова. На место происшествия прибыл полицейский пристав. Он осмотрел труп убитого. Допросил слугу, и обнаружилось, что в то время, когда тот был в городе, к дому помещика Иванова подходил священник, известный всему городу отец Иоанн.

Пристав поспешил к отцу Иоанну, дом которого был недалеко. Он зашел в прихожую. Там висела теплая ряса мехом наружу, из внутреннего кармана рясы торчал нож, покрытый запекшейся кровью, на светлом мехе тоже были следы крови.

Когда пристав вошел в залу, его встретил сам священник, встретил хотя и радушно, но с некоторым смущением и беспокойством. Когда пристав спросил у священника, был ли он сегодня у помещика Иванова, то отец Иоанн вздрогнул, но отвечал без колебаний, что был.

— Знаете ли вы, что случилось с Ивановым после вашего посещения? — спросил пристав.

От этого вопроса отец Иоанн пришел в замешательство и не знал — ответить «да», или сказать «нет».

— Поверьте, батюшка, — сказал пристав, — что я высоко ценю вас, однако долг службы заставляет меня допрашивать вас, впрочем, я уверен, что ваш ответ снимет с вас всякое подозрение.

— Исполняйте ваш долг, — отвечал священник.

— Хочу спросить, чья ряса висит в вашей прихожей? Если ваша, то откуда на ней кровавые пятна и в кармане окровавленный нож?

— Как? — с ужасом вскрикнул священник. Не может этого быть!

Полицейский сделал опись и удалился.

На следующий день весь город говорил о том, что в убийстве Иванова обвиняется отец Иоанн. Его неизменные почитатели отказывались этому верить. Прочие удивлялись, что такое преступление мог совершить священник. Отец Иоанн, молившийся большую часть ночи, заснул только под утро. Проснулся он от стука в дверь его комнаты. Он поднялся с постели, открыл дверь и увидел перед собой расстроенную и заплаканную жену. Она стала умолять его, чтобы он рассказал, что с ним вчера случилось.

Отец Иоанн отстранил от себя плачущую супругу и отвернулся от нее:

— Не спрашивай, — сказал он жене, — не смей спрашивать меня об этом.

— Как же мне не спрашивать тебя об этом? — отвечала жена. — Я столько лет была тебе любящей супругой. И вдруг я слышу, что весь город обвиняет тебя в убийстве, — она заплакала. — Виновен ты или нет? — продолжала она. — Я мать твоих детей. Когда они вырастут и будут спрашивать меня, был ли их отец преступником или нет, что мне ответить?

При упоминании о детях и отец Иоанн горько заплакал, но потом, овладел собой и сказал:

— Моим детям, когда они вырастут, скажи, что их отец был честен, что никогда не только человеческой кровью, но и несправедливым приобретением не осквернил он своих рук.

— Значит, ты можешь оправдаться, можешь объяснить обстоятельства, из-за которых тебя

подозревают?

— Не мо:у, — глухим голосом отвечал отец Иоанн, — не должен объяснять, не могу оправдаться. Господь, Которому я служу, запечатал уста мои. И Сам обвиняет меня. Могу ли противиться Ему?

В этот же день отца Иоанна подвергли домашнему аресту и он лишился возможности отлучаться из города и выходить из дома.

Скорбь жены, вопли маленьких детей, плакавших по примеру матери, поколебали отца Иоанна.

На третий день он позвал жену в свой кабинет и сказал ей:

— Немедленно поезжай в губернский город. Явись к святителю, проси его за наших детей. Отдай ему письмо и непременно в его собственные руки. Здесь тайна, которую я могу отчасти открыть только архипастырю. Заклинаю тебя Богом, не любопытствуй.

Через двое суток после этого жена отца Иоанна была уже у архиерея. Он сначала прочитал письмо, которое она подала ему, потом выслушал мольбу, которую она со слезами принесла ему за себя и за своих детей.

Острый взгляд архипастыря затуманился и на глазах его навернулись слезы. Он ушел, чтобы написать отцу Иоанну ответ, через несколько минут вернулся и передал просительнице запечатанный конверт. Также он сказал ей несколько добрых слов, и, благословляя ее, дал ей такое наставление:

— В искушении яви твердость, докажи, что ты по достоинству сделалась супругою священника.

Когда отец Иоанн дрожащими руками вскрыл конверт, привезенный женою от архиерея, то нашел в нем свое собственное письмо с такою пометкою архипастыря:

«Достолюбезный отец Иоанн. Пусть не беспокоит вас участь семьи. Тебе же от Божественного Пастыреначальника нашего Иисуса Христа подается венец мученичества за дело Божье. Прими сей дар с радостью, как залог вечной жизни и вечной славы. Радуюсь, что Господь дал тебе не только в Него веровать, но и по образу Его страдать».

Такой ответ не обещал ничего хорошего для отца Иоанна, но он укрепил его веру и преданность воле Божьей.

И вот у ворот его дома остановилась телега с двумя солдатами, которые должны были препроводить отца Иоанна в тюрьму.

Священник, укрепленный молитвой и верой, спокойно оделся в дорожное платье, поклонился иконам, благословил и поцеловал малюток-сыновей и наконец подошел к жене.

Он собирался поблагодарить ее за то, что она была ему верной подругой в жизни, что она доставляла ему семейное счастье. Собирался сказать ей, что она вечно будет жить в его сердце, но она бросилась ему на шею и рыданиями заглушила все его слова. Она умоляла его не покидать ее, разрешить эту тайну, которая нависла над ними страшной тучей.

— Нельзя! — твердо сказал священник. — Тут Бог судья.

С этими словами он осторожно, но решительно высвободился из объятий жены и вышел на

улицу к ожидавшим его солдатам. Он попросил у них только сделать остановку возле приходской церкви, где он служил.

Войдя в храм, он окинул прощальным взглядом иконостас.

«Вот они, подвижники за веру Христову», — подумал священник. И припомнились ему слова Священного Писания: они испытали поругания и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча, скитались... А ты, недостойный служитель алтаря, ты еще не подвизался до пролития крови. Иди же, иди с терпением на предстоящий тебе подвиг.

И, говоря это самому себе, отец Иоанн почувствовал новый прилив бодрости и сил. Облобызав престол и приложившись к иконам, он вышел из храма и сказал своим проводникам:

— Теперь везите меня, куда вам приказано.

В губернском городе отца Иоанна неоднократно допрашивали. Если его спрашивали, признает ли он себя виновным в убийстве Иванова, то он отвечал, что не признает. Если его спрашивали, кто же убил Иванова, то он или молчал или молился, говоря про себя:

«Господи, сохрани! Господи, подкрепи!»

Если от него требовали объяснения обстоятельств, которые служили уликами против него, то он говорил, что ничего не может объяснить, что Господь закрыл ему уста.

Он был приговорен за убийство к лишению всех прав и ссылке на каторжные работы.

Отец Иоанн приготовил себя, казалось, ко всему. А между тем в приговоре было нечто такое, что он упустил из вида, — «лишение всех прав» означало также запрет отцу Иоанну служить. Потом от него потребовали дать подписку, что он не будет ни совершать богослужения как священник, ни благословлять, ни одеваться, как священник. Он согласился. Но это была последняя капля, переполнившая чашу страдания. Этого отец Иоанн не вынес. Он застонал, стал ломать руки и, обращаясь к иконе Спасителя, закричал:

— Господи! За что Ты отвергаешь меня, чтобы я не священнодействовал перед Тобою? — И с горьким воплем упал на тюремный пол.

Прошло несколько дней, и отец Иоанн с другими преступниками отправился на место назначения. Тяжел был этот путь. Нужно было пройти не одну тысячу верст. Тяжела была и работа в рудниках, на которую определили отца Иоанна.

Начальство скоро заметило, что от его работы пользы мало. Он часто заболел. Тогда его целыми днями держали в каземате. Тело было спокойно, но терзания души не имели конца.

Во сне отец Иоанн постоянно видел себя, совершающим церковные богослужения. Стоит он будто перед престолом, окруженный волнами кадильного дыма, освещенный лучами утреннего солнца: душа его чувствует присутствие Пресвятого Духа, в руках его Агнец Божий, и отец Иоанн говорит Ему:

— Я не поведал тайны Твоей, я не давал Тебе лобзания Иудина, и Ты не отвергнешь меня?

Но вот происходит что-то неладное. Певчим нужно петь «О Тебе радуется, Благодатная», а они смеются. Грозно глядит на них отец Иоанн и будто говорит: «Разве я вам не священник?»

— Какой ты нам священник, — отвечают ему: посмотри, что у тебя на ногах. Опускает он свои глаза и видит на ногах оковы и просыпается.

Прошли годы. Приближался конец каторги, после которой отец Иоанн должен был остаться навсегда в Сибири. Но в это время приблизился, по-видимому, конец и его жизни.

Он сильно заболел. Жар и бред не оставляют его. Зато в горячечном забытии он не арестант, а священник. Он не выпускает из рук простого платка, который он на своей груди старательно то складывает, то раскладывает — и молится: «Не отвержи мене от лица Твоего». Но вот на лице больного изображается беспокойство.

Он шепчет про себя: «Идут, опять помешают, опять насмеются».

Действительно, в двери тюремного лазарета, где лежал больной, вошли два офицера: начальник тюрьмы и начальник местного отряда войск, их сопровождал врач.

Они подошли к той кровати, на которой лежал отец Иоанн, и посмотрели в его беспокойные, воспаленные глаза.

Затем офицеры обратились к врачу, попросив его высказать свое мнение о состоянии больного.

Врач сказал, что больной требует старательного лечения, внимательного ухода и полного спокойствия. После этого заявления все трое удалились.

С этого дня врач посещал отца Иоанна каждый день. Все, что можно было сделать для его выздоровления, все было сделано. Больной пришел в себя и стал постепенно укрепляться.

— Здравствуйте, батюшка, поздравляю вас с возвращением к жизни. Признаться, отец Иоанн, я сильно боялся за вас, — говорил врач, когда благоприятный исход был уже несомненным.

Отец Иоанн посмотрел на него острым взглядом и подумал:

— Какой я ему «батюшка», какой я «отец» Иоанн?

— Поправляйтесь, поправляйтесь, отец Иоанн, — продолжал врач. — Пожили в горе, поживете и в счастии.

— Какое может быть мне счастье? Зачем мне и жизнь? — сказал больной, а все-таки улыбнулся.

— Не унывайте, батюшка, не унывайте, будьте веселее, — заключил врач и удалился.

«Что он заладил: «батюшка» да «отец» Иоанн?» — еще раз подумал больной, но много думать сил не было, и он скоро заснул спокойным сном.

Через несколько дней снова пришел начальник тюрьмы и начальник отряда. Они зачитали отцу Иоанну особый приказ:

«Так как обнаружилось, что священник Иоанн, хотя и осужден за убийство, лишен всех прав и находится в каторжных работах, однако не только не совершил никакого убийства, но явил доблестное самоотречение во всем своем священническом служении, то в полную отмену онаго осуждения, как основанного на прискорбном недоразумении: восстановить вышепоименованного священника во всех правах состояния, освободить, возвратить, вознаградить».

Слушая этот чиновничий циркуляр, отец Иоанн сначала не верил своим ушам, думая, что опять начался горячечный бред. Потом ему стало казаться, что он не понимает то, что слышит. Когда же все сомнения рассеялись, то слезы радости и благодарной молитвы полились из его глаз.

— Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! — воскликнул отец Иоанн и в радостном изнеможении опустился на свою постель.

Когда отец Иоанн узнал, что ему возвращены свобода и священный сан, то прежде этого пожелал совершить Божественную Литургию.

На следующий день он служил Литургию в тюремной церкви. Храм был переполнен молящимися. Начальники, и младшие и старшие, даже закоренелые злодеи, товарищи его по заключению, — все спешили ему угодить, все готовы были почтить его, все преклонялись перед его тяжелым, многолетним, безвинным страданием.

Как изобразить душевное состояние отца Иоанна во время этого служения? Из его глаз непрерывным потоком катились слезы, но его сердце было объято и согрето животворной радостью, как солнечным теплом.

Сравнивая эти блаженные минуты с прежними терзаниями, отец Иоанн неоднократно спрашивал себя в изумлении:

«Я ли это? Не во сне ли я священнодействую?»

Спустя несколько дней отец Иоанн оставил место своего заключения и отправился к дорогим, давно покинутым местам.

На одной из остановок по вагонам несколько раз прошел высокий, румяный юноша — в фуражке, какие обыкновенно носят воспитанники духовных семинарий. Он, очевидно, старался кого-то разыскать, но не находил. Наконец, подавляя робость, которая в молодых людях всегда спутница хорошего воспитания, он стал спрашивать вслух всех пассажиров, нет ли среди них отца Иоанна?

— Что вам угодно? Я отец Иоанн, — раздался ответ.

Юноша увидел перед собой пожилого человека, имевшего длинную и совершенно седую бороду и такие же седые, не успевшие отрасти, волосы на голове. Молодой человек бросился к нему со словами:

— Батюшка! Ведь я — сын ваш! И стал целовать руки отца и края его убогой одежды, и надолго приник к его груди, скрывая на ней слезы своей радости.

— Матушка и брат здесь же, на вокзале: мы выехали навстречу вам, — сказал он, справившись со своим волнением и снова вглядываясь в дорогое лицо отца.

Радостные ощущения одно за другим накатывали на отца Иоанна.

Свою супругу отец Иоанн нашел такой же любящей и такой же достойной любви, какой была она прежде. Хотя ее прежняя свежесть и красота и увяли от прожитых лет и страданий, но душа ее возвысилась и стала еще прекраснее.

Навстречу своему многострадальному священнику вышло почти все население городка, в

который возвращался отец Иоанн. Встретив его с почтением и любовью, все провожали его в тот храм, где он раньше служил.

Остановившись на паперти, как при входе в рай, отец Иоанн сказал:

— Коль возлюблена мне селения Твоя, Господи сил!

Теперь объясним, почему отец Иоанн был осужден за преступление, которого он не совершал.

Помещик Иванов был одним из постоянных почитателей отца Иоанна, его духовным сыном и любил беседовать с ним о предметах веры. В день своей несчастной кончины Иванов ощутил безотчетную тоску и томился таинственным предчувствием чего-то недоброго. Вдруг, как будто по благодатному внушению, зашел к нему на короткое время отец Иоанн. Это посещение обрадовало Иванова в высшей степени. Между священником и его духовным сыном началась беседа, в которой Иванов открыл отцу Иоанну свою душу, каялся в грехопадениях молодости. Священник ободрял тоскующего надеждой на милость Божью и благодать Христову, но вскоре ушел домой.

Сделав несколько шагов по улице, священник встретился с другим своим прихожанином. Это был Феодоров, тоже помещик из соседних деревень.

Очевидно было, что Феодоров чем-то встревожен. Он так был занят волновавшими его мыслями, что не только не остановился при встрече со священником, но даже не ответил на его поклон.

Отец Иоанн проводил его взглядом и заметил, что он свернул в дом Иванова.

Дома отец Иоанн занялся подготовкой к очередному богослужению. Но тут скрипнула входная дверь, и раздались чьи-то шаги в смежной зале с кабинетом отца Иоанна.

Тогда отец Иоанн оставил книги, поднялся со стула и вышел в залу со свечей в руке. Там он увидел Феодорова, крайне взволнованного, с бледным лицом и воспаленными глазами.

— Батюшка, — сказал он шепотом, — я совершил великий и тяжкий грех.

Священник не поддался любопытству, не спросил, какой грех, где совершен он? Перед ним был его духовный сын, и священник ответил ему так, как должен отвечать духовный отец:

— Если вы согрешили и грех тяготит вашу душу, — сказал отец Иоанн Феодорову, — то вот икона Спасителя перед нами. Как духовному пастырю и отцу, поведайте мне падение ваше, чтобы через меня, недостойного, получить исцеление от Самого Христа.

Сказав это, священник открыл большой киот, стоявший в переднем углу наполненный иконами, вынул оттуда крест и Евангелие, завернутые в епитрахиль, положил их на бывший здесь маленький аналой, а епитрахиль одел на себя. Прочитав молитвы перед исповедью, отец Иоанн обратился к Феодорову с обычными словами напоминания по требнику:

— Чадю! Не утрашися, ниже убойся и да не скроеши что от мене.

Феодоров подошел к священнику, машинально перекрестился и сказал:

— Хорошо, я все вам открою, но вы, отец, — вы не выдадите меня полиции?

— Я — слуга Христу, — ответил отец Иоанн. То, что мы совершаем, есть таинство, которое

происходит между тремя: между тобою, мною и Господом. Засвидетельствовавши Христу твое покаяние, я не могу потом свидетельствовать перед людьми о твоем преступлении. И совесть, и закон запрещают мне это.

Тогда Феодоров сказал священнику, что за несколько минут перед этим он убил Иванова.

Отец Иоанн не нашел в сердце убийцы истинного покаяния. Это сердце было волнуемо другими чувствами, из которых самым сильным был страх человеческого наказания. Поэтому священник отпустил Феодорова без разрешения и при этом сказал:

— Теперь ты еще не способен как должно воспринять от Господа прощение и помилование. Сначала тебе нужно через тяжелый опыт понять, что суд Божий страшнее, чем суд человеческий.

Когда после этого явился полицейский пристав и стал спрашивать отца Иоанна, знает ли он, что случилось с Ивановым, то священник пришел в заметное волнение и путался в ответах.

Сказать «не знаю» мешала ему привычная правдивость, а сказать «знаю» запрещала тайна исповеди.

Полицейский пристав высказал подозрение, что Иванова убил отец Иоанн. Кровавые пятна, бывшие на рясе священника, нож, всунутый в ее карман, доказывали это подозрение. А сказать, что тот нож, вероятно, оставлен тут Феодоровым, что, вероятно, тот же Феодоров вытер об рясу окровавленные руки, что он убийца Иванова, — всего этого священник сказать не мог из-за тайны исповеди.

Через несколько дней отец Иоанн послал жену с письмом к архиерею. В этом письме он писал, что он не запятнал священства тем злодеянием, в котором его обвиняют, — что он мог бы назвать убийцу Иванова, но не смеет назвать его, потому что об этом он узнал на исповеди от самого убийцы.

Посылая это письмо, отец Иоанн питал в душе надежду, хотя и очень слабую, что владыка укажет ему какое-нибудь средство к тому, чтобы спастись от осуждения и каторги.

Но такого средства не было, и архиерей благословил отца Иоанна на страдания за чужой грех, по примеру страдания Христова, а не на то, чтобы спастись от беды с нарушением священнического долга.

Нужно сказать, что семейство отца Иоанна в течение всего времени, которое он провел на каторге, жило в достатке. Благодетели щедрыми руками подавали помощь жене и детям отца Иоанна. По почте приходили к ним от неизвестных лиц пакеты с значительными денежными суммами.

Очевидно было, что кто-то знал о его невиновности и хотел за его мучения вознаградить детей. Этим подтвердились слова отца Иоанна, которые мать постоянно пересказывала его сыновьям.

«Скажи моим детям, когда они вырастут, что их отец не только убийством, но и несправедливым приобретением никогда не пятнал своих рук».

Феодоров, в конце концов замученный совестью, признался в преступлении. Но суд человеческий его уже не мог достать. Его разбил паралич, и он умер в мучениях. Бог ему судья!

Княгиня-мученица

Супруг княгини Иулиании князь Симеон Мстиславович Вяземский после взятия Смоленска должен был покинуть свой удел. Ему и смоленскому князю Юрию великий князь Василий Дмитриевич отдал Торжок.

Супруга Симеона Иулиания отличалась красотой души и тела. И возбудила невольно гнев в Юрии, который домогался ее покорности.

Тщетно успокаивала Иулиания Юрия то мольбами, то уговорами, говоря, что верностью мужу дорожит больше, чем жизнью. Чтобы насытить свой гнев, Юрий решился на страшное дело: он убил князя Симеона и хотел силой взять его вдову.

Юная княгиня ударила безумца ножом и хотела спастись бегством. Юрий бежал за ней с мечом в руке, нагнал ее, изрубил и велел бросить в реку.

Князь Юрий бежал к татарам, но и там его замучила совесть. Он ушел в Рязанскую пустынь, где через два года в горьком раскаянии окончил свою жизнь.

Настала весна. Один расслабленный, сидя на берегу реки, с изумлением увидел человеческое тело, плывшее против течения. Тотчас он почувствовал, как жизнь вернулась в его иссохшее тело. И услышал голос:

— Человек Божий, иди в Торжок, в соборную церковь, и скажи, чтобы протопоп и братия взяли грешное тело Иулиании и похоронили у южных дверей.

Тогда в сопровождении толпы народа тело перенесли в собор, причем многие больные исцелились.

Однажды соборный диакон Иоанн захотел осмотреть мощи, подготовился к этому сорокодневным постом и стал откапывать гроб, но из-под земли вырвался внезапно огонь, опалил его, и он услышал голос:

— Отец, не трудись: мое тело люди не должны видеть, пока не будет на то воли Божьей.

Затем два месяца диакон лежал в расслаблении, пока не получил исцеления.

В 1811 году княгиня Иулиания исцелила жену соборного протоиерея Артемия, потерявшую разум и зрение. Через три года, при возобновлении собора, каменный гроб княгини был открыт, и потекли потоки исцеления.

Три дня у иноков

Великим постом Павлов приехал в Москву и остановился у своего приятеля, чтобы, не торопясь, осмотреть город и поклониться здешним святыням и, кстати, и поговорить у московских святителей. Обойдя Кремль и некоторые знаменитые церкви древней столицы, Павлов не остановился ни на одной из них: здесь, ему показалось, много суеты мирской, много шума, много житейского.

— Поеду в Лавру, к преподобному Сергию, — объявил он своему приятелю. — Не могу я здесь найти для себя божественного мира, той тишины сердца, которая необходима для молитвы; не могу здесь сосредоточить свой ум для богомыслия.

Во вторник вечером на крестопоклонной неделе Павлов покинул шумный торговый город и по железной дороге отправился в Троице-Сергиеву обитель. Он мало был знаком с обстановкой русских монастырей и идеализировал по-своему жизнь монахов, представляя их если не ангелами во плоти, то все-таки особенными людьми, стоявшими вне греха и соблазна. При мысли о монастыре перед ним всегда вставала картина жизни древних иноков в глухом лесу, которые вполне отказались от мирской суеты городов и довольствовались только тем, что давала им природа да приносили случайные странники-богомольцы. Эти пустынники рисовались ему совершенно в другом свете, чем монахи городских монастырей: там, в лесах, человек свободен от тщеславия костюмов, от превозношения чинами, орденами, положением в обществе. Он знал, что преподобный Сергей ни за что не хотел принять почетного сана архиерея в Москве и предпочел остаться в своей убогой церкви, освещаемой дымной лучиной.

— К Сергию, к скромному, но вдохновенному Сергию скорей! — сладостно мечтал Павлов, сидя в вагоне.

Поезд подошел к Сергиевскому Посаду поздно вечером, когда ворота Лавры были заперты, и ему пришлось проехать прямо в гостиницу.

На другой день утром было еще темно, когда он направился к Святым воротам Лавры. Заметив, что большинство богомольцев направлялось к угловой церкви за колокольной, и сам он вошел в нее помолиться. Всюду толпыдвигающегося народа. Покупают, продают.

Тут служат молебен; в другом месте — панихиды. Все подвижно, шумно; не на чем остановить своего внимания, своего благоговения, с которым он пришел сюда. За движущейся толпой, лестницами и переходами он прошел в соседнюю церковь. Здесь шла служба. На полу мокро от следов молящихся. В воздухе испарина. Тесно. И тут шумное движение толпы. Оно еще более увеличилось, когда стали приобщать народ.

С окончанием ранней обедни Павлов вышел из церкви на двор. Увидев скопление богомольцев около дверей, недалеко от угловой церкви, он вошел вместе с ними в небольшую лавку. Там продавали просфоры разных размеров, а в следующей проходной комнате сидели послушники и за небольшую плату писали гусиными перьями имена поминаемых на нижней стороне просфор.

Павлов стал искать церковь, где лежат мощи преподобного Сергия, чтобы там отстоять позднюю обедню. Ему указали на небольшой храм с золотым верхом. Тут тоже было тесно, но народ молился более спокойно. Сознание, что здесь главная святыня Лавры, все время держало Павлова в благоговейном настроении. Он отстоял молебен, горячо приложился к раке преподобного и молился ему, да сподобит его достойно исповедоваться и причаститься.

Выйдя из церкви, Павлов стал искать трапезную. Он обратился было к двум проходящим мимо его монахам, но те так увлеклись разговором, что не обратили на него никакого внимания. Собственно, искать было нечего, потому что трапезная была рядом с храмом Св. Троицы. Он и не воображал, что эта ярко расписанная палата и есть столовая монахов. Внутри она отделана еще более богато, чем снаружи. Потолки и стены покрыты прекрасной живописью и красивым орнаментом. Множество накрытых для обеда столов. Между ними озабоченно хлопочут послушники.

«Недаром, — подумал он про себя, — богомольцы с таким восторгом рассказывают о Лаврской столовой, о прекрасном обеде, о чтении при этом житий святых и вообще о всей торжественной обстановке трапезы у монахов. Но что же это нигде не видно богомольцев? Пожалуй, рано я сюда забрался».

И он повернул к дверям, где столкнулся с послушником.

— Вы тут кого ищете? — спросил его послушник.

— Я слышал, что в Лавре дают богомольцам даровой обед...

— Это не здесь. Вы спуститесь и обойдите кругом здания, и там вам укажут столовую для богомольцев. А здесь только братия трапезует.

Павлов сконфуженно извинился и быстро спустился по лестнице на двор. Он пришел к монастырской кухне, где послушники суетливо носили разную посуду и миски с кушаньями. Несколько далее дверь вела в довольно темное низкое помещение. Это была столовая для богомольцев. Он видел, как два послушника несли туда большой ушат с квасом. За ними и он вошел в столовую. Сначала со свету ему трудно было разобрать что-нибудь в темноте, но, приглядевшись внимательно, он увидел два длинных стола с обедающими богомольцами.

Из этой темной комнаты настежь раскрытая дверь вела в другую, более светлую. Небольшое окно в ней слабо освещало картину обедающих богомольцев. Все столы были заняты. У всех лица довольные. Едят, по-видимому, с аппетитом. В общем порядочно шумно от стука посуды и разговоров, так что монотонное тихое чтение Пролога было мало понятно. Проходя назад в темную комнату, Павлов заметил на полу кучу людей, ожидающих очереди пообедать, но сам здесь не остался и вышел на свежий воздух.

Проходит мимо него пожилой крестьянин в тулупе и валенках.

— Экая красота! — обращается он к Павлову, указывая на трапезную. — Экая благодать Божья! Спасибо, Сергей угодничек: накормил, напоил меня, старого.

— Вы обедали с богомольцами? — живо спросил Павлов.

— Да, сподобил Господь и меня пообедать в монастырской трапезной. Очень уж хорошо! Мы едим, а монашек читает нам жития угодничков Божиих.

— Но ведь там темно и тесно?

— Тесно, так подожди другой очереди. Нет, хорошо! Главное в тепле. И обед чудесный. Уж я так сыт, так сыт! Темновато, вы говорите? Но ведь это только зимой, а летом тут обедают прямо на дворе. Очень хорошо! И читают! А то рассказывают и проповеди говорят при этом. Все это он, угодничек Божий, старается для нас, грешных. Спаси вас, Господи!

Поклонившись, крестьянин бодрой походкой направился к выходу. За ним печально побрел и Павлов. Несколько разочарованный, он пообедал в гостинице в грустном одиночестве. Не по душе пришлась ему эта шумная, многолюдная жизнь обитали. Не то он думал найти там, где смиренный Сергей оставил такие высокие примеры кротости и любви к ближнему. Уединения искал он.

Ему хотелось взглянуть на ту природу, на уединенные леса, на ту простую деревянную келью, где преподобный в священной тишине созерцал Божью Матерь и святых ангелов. А теперь тут все, как в городе: бойкая торговля, движение народа, каменные сооружения.

Нет, надо уехать отсюда в какой-нибудь тихий скит, решил про себя Павлов, и вечером он нанял извозчика в Гефсиманию.

По дороге в лесу Павлов немного отдохнул от расстроенных мыслей. Под мягким пушистым снегом лес молчал и навевал на душу величественную тишину.

— Как тут хорошо у вас! — заметил он извозчику.

— Бот вы, барин, летом приезжайте к нам. Тогда поглядите, что за благодатные места здесь! А дух какой весной! Пташек сколько!..

— Да, тут скоро можно поправиться здоровьем.

— Здоровые места! Вот уж сколько лет я живу в Кокуеве, а не помню, чтобы было здесь какое-нибудь поветрие. Божие благословение по молитвам преподобного!

Извозчик остановился у гостиницы, вне ограды Гефсиманского скита. Тут стояли порожние сани и толпился проходящий народ. Отслужив молебен перед Черниговской иконой Божьей Матери, Павлов отправился в скит.

Входя в ворота каменной ограды, он попросил привратника указать ему церковь Успения Божьей Матери. Этот старинный деревянный храм, времен преподобного Дионисия и Авраамия Палицына, был перенесен сюда из села Подсосенья митрополитом Филаретом. В нем было все, что напоминало древнюю убогую церковь преподобного Сергия. Утварь церковная вся деревянная, облачения бумажные, плащаница и антиминсы холщовые. Все иконы древнего письма. В обширных сенях храма Павлов осмотрел множество поучительных картин из монастырской жизни. Каким миром повеяло на него от этой простоты и древности! Он пожалел, что сегодня нет службы в этом храме. Ему указали другую церковь преподобных Сергия и Никона в верхнем этаже другого здания, где шло великое повечерие.

Проходя по саду, Павлов встретил почтенного монаха.

— Скажите, — обращается он к иноку, — отчего здесь никого не видно в вашем саду? Отчего у вас такая тишина?

— Сейчас все в церкви. Вон в том каменном корпусе, — указал инок на длинное здание напротив деревянной церкви. — Да и то надо сказать: сюда не пускают женщин. Оттого и тихо. Пусти только их, то и тут будет такая же суетолака, что и в Лавре.

Павлов поднялся в церковь, прошел мимо ряда молчаливых иноков и остановился позади всех, куда собрались богомольцы. Все мужчины. Среди представителей городского населения немало было и странников, с котомками и посохами. Все предстоящие в церкви скованы были каким-то особенным благоговением. Никто не переходил с места на место. Некоторые буквально застыли в своей позе. Стало смеркаться. Послушник бесшумно обошел подсвечники и потушил все свечи, кроме главных у иконостаса. Служба подходила к концу. Чтец сильным грудным голосом читал посреди церкви последние молитвы на сон грядущим. Невозмутимая тишина среди множества богомольцев, таинственный мрак с пятью-шестью мигавшими огоньками в глубокой дали, громкое прочувственное чтение чтеца — все это сильно настраивало душу Павлова. Кончилась служба, но никто не двинулся с места. Погасли последние огоньки около иконостаса. Во мраке слабо светится, как единственная звездочка в темную ночь, маленькая свечечка в руках чтеца. Полное безмолвие.

«Должно быть, ждут игуменского благословения и отпуска», — про себя решил Павлов, напрягая свое зрение, чтобы проникнуть издали тайну сокровенного во мраке действия монахов... Вдруг раздался снова голос чтеца:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..

Отчетливо, звучно, выразительно повторял чтец одну и ту же молитвенную фразу. Все горячо молились. Павлов склонился на колени и усиленно крестился.

Вдруг чтец замолчал. Опять настала невозмутимая тишина. Все буквально замерли.

«Что это значит? — соображал про себя Павлов. — Не вышел ли игумен из церкви, или он занят молитвой в алтаре?»

Прошло несколько долгих минут, как опять раздался голос чтеца во мраке:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..

Опять начались горячие молитвы и поклоны предстоящих. Каждый возглас чтеца сильно западал в душу растроганного Павлова.

— Господи, — молился он, — как некогда слепые в Иерихоне, и мы во мраке взываем Тебе: помилуй нас! Помилуй всех нас и просвети нам очи мысленные!

Чтец опять смолк. Опять тишина томительная, таинственная. Павлов чувствует, как бьется кровь в его висках. На него напал священный трепет. Ему казалось, что ждут какого-то чуда от Бога.

«Ведь так только молятся, — подумал он, — когда ждут непосредственного ответа свыше».

Все стоят неподвижно. Тишина невозмутимая.

Вдруг опять раздался напряженный голос чтеца:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

«Вот она настоящая Гефсимания!» — подумал Павлов. — Господь тоже трижды прерывал свою молитву и уходил искать во мраке спящих учеников Своих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — стал он благоговейно повторять за чтецом.

Но вот опять молчание, и опять все стоит тихо, не шелохнувшись. Проходит несколько томительных минут. Павлов не выдержал и тихонько подошел к одному из монахов.

— Сейчас кончится, — совершенно спокойно ответил ему седой старец.

Действительно, чтец опять провозгласил несколько раз Иисусову молитву, и на этом окончилась вечерняя служба.

Потрясенный до глубины души, Павлов не мог сейчас идти в гостиницу и отправился в церковь Черниговской иконы Божьей Матери. Здесь шла всенощная. Было тесно, душно и жарко. Большинство молящихся — женщины. Утомленный за целый день, он не вынес долгого стояния и вышел отдохнуть на ступеньки лестницы. Здесь сидела скромно одетая двенадцатилетняя девочка.

— Откуда, милая? — спросил ее участливо Павлов.

— Из Владимирской губернии, отсюда верст полтораста будет.

— Далеко! На машине приехали?

— Нет, пешком с матерью. У нас и денег-то на дороту взято всего один рубль. Мы погорельцы.

— Один рубль! — удивился Павлов и даже всплеснул руками. Он вынул из своего кошелька серебряный рубль и подал его девочке.

— Сюда вас Бог донес с одним рублем, — сказал он ей. — Ну вот вам другой на обратный путь.

— Спасибо! Я пойду помолюсь за вас, — просто сказала девочка и быстро поднялась в церковь. Вслед за ней пошел и Павлов и долго смотрел, как юная молитвенница за него старательно клала земные поклоны перед образом Божьей Матери.

На другой день утром Павлов отправился к уважаемому здесь старцу. Ему много говорили в Москве о его прозорливости и полезных советах, которыми он наделял приходящих к нему с разных концов России. Старца он застал на дворе, окруженного толпой богомольцев. Вероятно, они уже побывали у него, и теперь он провожает их, приговаривая:

— Идите с Богом, детушки, в церковь, и я сейчас приду туда.

Павлов подошел под благословение к старцу и подал ему рекомендательное письмо от своего приятеля.

— От вашего почитателя, батюшка.

— Ну, зайди, сыночек, в келью.

Павлов прошел в небольшой деревянный дом, где была квартира старца, состоящая из двух маленьких комнат. Седой старец, но еще довольно бодрый, ласково обратился к Павлову и заглянул ему в глаза:

— Ну, что скажешь, сыночек?

Павлов смутился. Он хотел было спросить совета относительно женитьбы, да сразу сказать об этом показалось ему как-то неловко.

— Пришел за благословением к вам, батюшка.

— Один, сыночек, приехал?

— Один, батюшка.

— Разве ты не женат?

— Нет, холостой.

— Так что же ты не женишься?

— Я за этим и пришел к вам.

— Женись, женись! Время пришло! Вот тебе мое благословение.

Старец взял из другой комнаты икону Иверской Божьей Матери и осенил Павлова.

— Ищи невесту.

Павлов подивился прозорливости старца и поклонился ему до земли.

— Женись, женись! — благословляя его, повторил много раз старец. — Вечером приходи ко мне исповедоваться.

Радостно сжимая на груди подаренный образок, Павлов спустился в пещерную церковь и горячо благодарил Божью Матерь. Весь день до исповеди он провел или в церкви за службами, или в обозрении пещер и скитских храмов.

На другой день, после принятия Святых Тайн, Павлов опять посетил старца, чтобы поблагодарить его и проститься с ним.

— От сего дня не более более! — сказал ему на прощание старец.

Павлову не хотелось так скоро расстаться со скитами, и он нанял извозчика в общежительную пустынь св. Параклита. Погода стояла теплая, солнечная. Благодаря недавно выпавшему снегу дорога была немного трудная для лошадей, но мягкая и спокойная для седоков, которым не для чего торопиться. Со всех сторон подымались опушенные снегом сосны и ели. Все время дорога шла по прямой линии лесом, но, пересекши речку Торгошу, она круто повернула вправо на косогор. Вскоре показались строения обители. Еще немного, и извозчик остановился у ворот скита. Павлов пошел по вытоптанной дорожке по направлению к церкви. Нигде среди разных деревянных строений он не встретил ни одной души. Обошел церковь, но и тут никого не было. Наконец у одной маленькой избушки он заметил инок.

— Отче, нельзя ли мне молебен отслужить в вашем храме! — крикнул ему Павлов.

— Сейчас, сейчас, батюшка! Я скажу иеромонаху.

Вскоре подошел к Павлову худощавый иеромонах в старенькой рясе и показал ему верхнюю церковь Святого Духа Утешителя, или Параклита, и нижнюю — во имя Иоанна Предтечи. При этом он сказал:

— Заметьте, как это премудро придумано соединить в одном здании эти две церкви.

Воистину это обитель духовного возрождения. Ведь сказано, что если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Вот здесь мы молимся Святому Духу, а в той нижней церкви возносим молитвы к свидетелю Его, который был послан крестить народ в воде.

После молебна Божьей Матери и Иоанну Предтече, иеромонах пригласил Павлова в свою келью и угостил его хлебом и медом с горячей водой.

— Как у вас тихо, батюшка, — заметил Павлов, — настоящая пустынь!

— Да, хранит Господь нас от молвы житейской. Женщины в нашу обитель вовсе не допускаются, да и мужчины богомольцы редко сюда заглядывают. Ограждены мы от мира стеной леса. Понравились ли вам наши леса?

— Жалею, батюшка, что не летом я приехал к вам. Но и зимой у вас хорошо.

Тут Павлов рассказал о своем недолгом пребывании в Лавре и в Гефсиманском скиту, о посещении знаменитого старца и о его прозорливости.

— Он и мне предсказал, чего я никак не ожидал, — в свою очередь стал рассказывать словоохотливый иеромонах. — Случилось мне проходить мимо его окон. Старец позвал меня к окну, назвав иереем. Отче, говорю ему, я всего только смиренный послушник. Будешь, будешь иереем, настойчиво повторил старец.

Я тогда же усомнился: мне ли, малограмотному крестьянину, носить священный сан! И что же бы вы думали, скорехонько меня делают иеродиаконом, а теперь вот уже несколько лет иеромонахом.

Простившись с безмолвием Параклитовой пустыни, Павлов решил для полноты обозрения скитов посетить и Вифанию. Два знаменитейших московских иерарха оставили по себе в этих местах неувядающую память: митрополит Платон основал монастырь Вифанию, а митрополит Филарет устроил скит Гефсимании). Впрочем, храм Вифании связан еще и с другим евангельским событием — с Преображением Господним. Внутреннее устройство церкви очень своеобразно. Над пещерой, в которой находится престол в память Воскресения Лазаря, насыпана гора, изображающая Фавор. По горе проложены две лестницы, а на вершине ее поставлен престол в честь праздника Спаса Преображения.

Осмотрев покои митрополита Платона, Павлов поспешил вернуться в Лавру.

В вечерних сумерках, когда он ехал тихим лесом, на него напало тяжелое раздумье:

— Вот мы удаляемся из шумного грешного мира, чтобы провести недельку-другую вне житейских забот, чтобы подумать о судьбах человечества и о вечной жизни, сообразить свое положение в общем домостроительстве Божьем. И как мелки, ничтожны покажутся иногда все земные заботы и все дела, ради которых мы так суетимся, ссоримся, хлопочем, враждуем! Ведь кто хочет идти за Христом, тот должен оставить неугомонный мир, лежащий во зле, и все его соблазны и последовать Ему, вот как это сделали скитские иноки.

Под впечатлением от картин отшельнического жития в Параклите Павлов забыл недавнее увещание старца скорее жениться, забыл и оставленные дома дела. Он стал снова лелеять свою давнишнюю мысль — уйти в уединение лесов и посвятить себя исключительно слову Божию.

В тот же вечер он встретился в гостинице с одним близким своим приятелем, приехавшим сюда тоже поговорить. Павлов сейчас же предложил ему на разрешение гнетущий его вопрос: уйти ли ему в один из скитов или остаться в мире.

— Уж который раз я от тебя слышу этот вопрос! — ответил ему приятель. — Хорошо сказал твой же Ангел Хранитель Иоанн Предтеча: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Поверь мне, если бы тебе дано было свыше идти в монастырь, то ты не спрашивал бы меня, а взял, да и ушел без разговоров. Нет, видно, не настало еще для тебя время. Да и то надо сказать: когда грозила опасность кораблю, на котором апостол Павел плыл в числе других узников, то матросы вздумали было убежать с корабля в лодке; но Павел сказал своему начальнику, что если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Так и спасение всех людей. Мир, конечно, погибнет; но мы не должны бежать от своих занятий и обязанностей. Нам надо до конца пробыть у своего дела, каждому надо стоять на своем посту. У тебя есть служба, тебе дан талант, ну и работай с ним до пришествия Господня. Тогда отдашь Ему отчет и соответствующую мзду примешь.

Павлов поблагодарил своего приятеля за добрый совет и, успокоенный, тотчас же отправился в Москву.

Лечебница души

Солнце давно перевалило за полдень и быстро стало опускаться к своему западу. Деревья все длиннее и длиннее вытягивали свои тени. Хор дневных птичек становился все тише и тише, и многие спрятались под устало повисшие листья берез и осин. Вечерний колокол в монастыре давно отблаговестил, и народ теперь расходился из храма. Двое иноков отделились от общей массы и, тихо переступая, о чем-то оживленно беседовали. Вот они вышли за ворота монастыря и направились по дороге к лесу. Старший из них имел замечательные глаза. Они вполне соответствовали своему названию: зеркало души. Эти глаза выдавали малейшие движения сердца. То они задумчиво грустны, то загораются огнем вдохновения, то смотрят кротко любовью, как бы прося заглянуть через них в самую глубину доброй души этого инокa, уважаемого отца Нестора. Другой был молодой послушник. Розовые щеки и порывистые движения указывали на его недавнее пребывание в монастыре. Он говорил быстро и кратко, тогда как отец Нестор любил вести свою речь длинной связью своих воспоминаний, дум, примеров других людей, иногда вставляя в нее подходящие слова Писания.

— Скажите, отец Нестор, что же вас заставило прийти в монастырь? — спросил молодой послушник, когда они проходили мимо скамейки.

— Посидим немного. Как я пришел в монастырь? — усаживаясь на скамейку, повторил вопрос отец Нестор, — да почти что случайно. Впрочем, на свете нет ничего случайного, а все творится по определению свыше. Жил я до двадцати лет в разных городах, ходил по церквям каждый праздник, но никогда не доводилось мне быть ни в одном из монастырей. Знал о них только по картинкам, по книгам да по рассказам, а самому не приходилось видеть ни трапезной монахов, ни кельи их, не знал, что это за «правило», положенное им на каждый день. Но я всегда думал про себя: если заболею душой, испорчусь умом или сердцем — пойду лечиться в монастырь. Ведь больные телом идут на совет к доктору, а очень больные — ложатся в больницу. Так и больные душой прибегают к посредству священника, заказывают молебен. А уж если очень болен, то что же остается, как не идти в лечебницу души — в монастырь? Стукнуло мне двадцать три года. Батюшка, матушка, благословите меня! Да в чем был, в том и поехал в один из ближайших монастырей; только Евангелие было за пазухой. Так и так, говорю отцу игумену, пришел сюда смириться пред Господом, исправить сердце свое и унять вожделения, воюющие в членах моих. Отвели мне келейку, и стал я сокрушаться, плакать и рыдать, призывая имя Господне. Год прошел, но я не мог забыть мира и всех его прелестей. Да и монастырь был на бойком месте. Приходило много всякого народу. Не понравилось мне в нем. Захотел уйти в более тихий уголок и выбрал настоящую пустыньку, мало посещаемый скит на островке большого озера. Там я нашел полное уединение. И какие горячие молитвы изливало мое сердце! Как близко чувствовался там Бог и его святые ангелы! Какой мне свет изливался от святого слова Божьего! В этой пустыньке я скоро забыл все мирское. Впрочем, об одном жалел — как мало проявил я любви ближнему, живя в мире. Вспомню, например, случай, где бы я мог оказать любовь ближнему и не оказал, и защемит сердце. Как тогда хотелось загладить свою ошибку! Так бы и убежал из монастыря снова в мир, чтобы помогать всякому встречному. Я заболел любовью к людям. Мне тогда хотелось ухаживать за больными, за старыми, кротко переносить все их оскорбления и неприятности, отдать им весь свой заработок, все свои силы, духовные и телесные. Как мать болеет иногда от избытка молока, так и я страдал от переполнения сердца моего любовью, которую некому было приложить в келье. О, Господи! взывал я, не пора ли мне выйти опять в мир к людям и излить на них свою любовь... Правда, я подолгу молился за всех людей, перебирая имена родных и знакомых, но мне хотелось, по человечеству, конечно, осязательно проявить им свою любовь, хотелось кормить, поить их, одевать и обувать, учить, наставлять на истину. Я не выдержал этой странной болезни сердца и после четырехлетнего пребывания в ските вышел из него в

мир.

Раньше у меня был большой порок: я предавался пьянственной страсти. Теперь меня не тянуло пить. Ну, думаю, слава Богу, готов на работу, излечился в Божьей больнице. Все, кто раньше знал меня, замечали во мне перемену: стал много тише, спокойнее. Прошло лет десять. Мир опять обуял меня. Опять пошла дружба с ним. А сказано в Писании: «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И опять у меня поднялись прежние вожделения... Вижу сам — дело плохо. Нельзя сказать, чтобы я не молился, но уже не чувствовал той близости Бога, какая замечалась в ските. Ну, думаю себе, как Бог оставил благочестивого царя Езекию, чтобы испытать его и открыть ему все, что у него на сердце, так, может быть, оставил Он и меня для испытания. Ведь Богу нужна сознательная вера, испытанная, как золото. Тяжело мне стало, и я обратился в этот монастырь Царицы Небесной и вот жду ее помощи.

Отец Нестор взглянул на небо, перекрестился и замолк.

Ничего не сказал молодой послушник Алексей. Он задумался над словами Нестора. Ему представилась его долголетняя борьба со своими страстями, с вожделениями тела, со своей душой в уединенной келье. Он проникся благоговением к отцу Нестору и безмолвно стал созерцать его поникшую голову.

Солнце скрылось за лес. Недалеко от них защелкал соловей. Над рекой кое-где стал показываться беловатый туман. Сильнее запахло березой. Но все эти внешние ощущения как-то бессознательно пронеслись мимо иноков. Алексей ждал продолжения рассказа. Он знал, что отец Нестор не остановится на этом. Раньше он сам хотел многое высказать, но теперь как-то сразу все затаилось в душе его. Он понимал, что для его собеседника наступила та редкостная минута, когда человек не разговаривает, а исповедывается Богу.

Нестор поднял голову и вперил свои задумчивые глаза куда-то в пространство.

— Не знаю, — опять заговорил он тихо, — долго ли останусь я в монастыре? Мне кажется, недолго. По примеру многих святых отцов, я хотел бы пойти проповедовать Евангелие людям, не знающим Христа и Его спасительной проповеди. У нас в России есть еще много язычников и иноверцев! Да и самим русским надо снова проповедовать Христа. Замечается теперь большое развращение в нас самих. У меня горит сердце сказать им слова истины. Жалко, придется покинуть монастырь, но ведь Сам Христос посылает апостолов во весь мир проповедовать Евангелие всей твари. Только любовью к ближнему можно пристать к телу Его. Если я хочу спасти свою душу, то я должен объединить себя с членами Его, заботиться о всей совокупности их, войти объединенным одной кровью в собрание их. Отдавая всего себя им, тогда только я буду работать для Христа, тогда только совесть моя скажет Богу: «Я исполнил волю Твою!»

По мере того, как он говорил, голос его делался все тверже и громче, глаза разгорались неземным огнем, а его поднятая рука как бы призывала всех к небу.

Алексей, затаив дыхание, молчал. Он не совсем ясно понимал отца Нестора, может быть, потому, что он больше смотрел на его вдохновенное лицо, чем слушал. Однако он уловил его последнюю мысль и заметил:

— Но можно и в монастыре и поучения писать, и проповеди говорить, как это есть в лаврах.

— Да, можно... — хотел что-то еще сказать отец Нестор, но только взглянул на Алексея и замолк.

Юный инок понял, что он сделал какую-то неловкость своим замечанием. Ему было обидно за

себя и жалко, что Нестор прервал свою речь. Тогда он попробовал говорить про себя, про свои надежды.

— А у меня теперь только одно желание — снова попасть на послушание в алтарь к батюшке. Ведь я и раньше до вашего прихода был пономарем, да батюшка рассердился на меня и прогнал на кухню. Вот уже два месяца прошло с тех пор. Я думаю, батюшка к празднику даст мне новый подрясник и опять приставит к церкви.

Отец Нестор рассеянно его слушал. Его возбужденная мысль еще не успокоилась, и он продолжал думать о путях Божьих.

— А уж в этом подряснике стыдно показаться на глаза народа, — продолжал Алексей. — Вы видели у меня в келье четки? Это из Иерусалима привез мне один монах Афонского подворья. Ведь я прежде там был...

Тут только взглянул отец Нестор на его безусое бледное лицо, с маленьким розовым ртом, с правильным тонким носом.

«О, какой ты еще молодой», — подумал про себя Нестор и, ласково пожав его руку выше локтя, поднялся и сказал:

— А что, брат Алексей, не пора ли нам вернуться домой?

— Да, пора. Пожалуй, меня давно ищут на кухне. Ну, вот Бог даст, к празднику расстанусь с ней.

Опираясь на палку, отец Нестор несколько ускоренным шагом поспешил к обители, а Алексей, идя за ним своей легкой прыгающей походкой, часто склонялся к канаве дороги и срывал цветы для букета.

Оба чернеца, стремясь к одному Христу, имели разные думы. Один смотрел на мир, как на поле горячей борьбы немногочисленных поборников святой истины и живой любви не только с неверующими или с язычниками, но и с теми опасными волками, которые ходят в овечьих шкурах. У него болит сердце не оттого, что в воскресенье был плохой сбор или что благодетель мало прислал камня на новый храм, он мучится сознанием, как разрушается мировой храм, как слабеют духовные связи любви в семье, в обществе, в государствах, как трудно крикнуть на крыше, что он услышал в уединении кельи. А другой инок, не изведав мирской жизни, уже отказался от нее и ищет удовлетворения в монастырских стенах, в строгой монашеской обстановке, в четках, в подряснике и других принадлежностях черноризцев. Но в самой душе этого юного инок ничего нет мрачного. Он так же невинно смотрит на весь мир Божий, как и те цветы, которые он по дороге срывает, тихонько припевая вечернюю песнь: «Свете тихий».

Когда они подошли к монастырю, молодой инок нагнал отца Нестора и, подавая ему цветы, сказал:

— Выбирал попахучее да покрасивее, но уж поздно: цветочки стали засыпать.

— Да, все приходит к своему концу, к долгому сну, — заметил отец Нестор, — и весь мир пришел на запад солнца.

Монастырская работа

В одном из монастырей Новгородской губернии был послушник из староверов. Родители его

готовили в начетчики своего общества, но любознательный юноша Меркурий — так звали его — не оправдал их надежд. Переходя с места на место по торговым делам, он часто сталкивался с никонианами, которые и убедили его оставить свое староверство. Пробовал Меркурий склонить своих родителей последовать его примеру, но встретил от них ярое сопротивление и даже гонение за измену вере отцов и дедов.

Тут-то и вспомнились Меркурию слова Спасителя: «И всякий, кто оставит дома... отца или мать... ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Он решительно покинул родной дом и пришел в монастырь. На второй год своего послушания в различных работах на поле, на огороде, в кухне и в церкви Меркурий задумался:

«Для чего все это? Вот собралась кучка людей — копают, строят, хлопочут, ссорятся, мирятся... А все как-то не ладно! Не видно и цели всех этих мирских дел... Для чего я оставил своих стариков-родителей и верчусь в этом колесе многообразных дел?»

С этими вопросами приходит он вечером в воскресенье к брату Иоанну, уважаемому человеку в монастыре за смиренную мудрость.

Брат Иоанн имел обычай заход солнца сопровождать пением. На этот раз Меркурий застал его за перепиской нот «Ныне силы небесные». Пишет и тихонько подпевает.

— Не помешаю?

— Нет. Пожалуйста! — как всегда, с улыбкой встречает брат Иоанн своего гостя.

После приветственных переговоров Меркурий скоро направил разговор на вопрос, который его мучил.

— Не все ли равно, что я копаюсь здесь, на монастырской земле, или в мире? Нас подымут рано, до четырех часов, и после спешной молитвы и чая гонят в поле. Целый день до обеда и после до восьми с половиной часов пашешь или боронишь. После ужина усталый и сонный отстоишь вечернюю молитву и в десять часов спешишь в келью спать. Трудисься много, но нет горячего увлечения делом. К чему все это?

— Вас удивляет, что здесь в монастыре, как и в мире, повторяются те же картины; что люди — везде люди. Так же выбиваются из сил для большего приобретения вещественного богатства; так же ссорятся, завидуют, тщеславятся... Но есть и разница. Вы помните, как некий человек просил Иисуса Христа разделить ему с братом наследство. Господь не захотел их делить. Ведь Он, как Бог, мог бы их разделить самым точным образом, так что не оставалось бы больше причин для распри. Однако же не делит их. И правда, что толку делить? Сегодня Он их разделит, а завтра забралась корова одного брата на хлебное поле другого — и вот опять распря и суд! Господь хочет, чтобы любовь была между братьями, тогда и делить их не надо. Андрей будет говорить: «Возьми, пожалуйста, Ваня». А Иван в ответ: «Нет, Андрюша, возьми ты, голубчик!» В мире идет дележка по законам да по заслугам, а у нас в монастыре должна быть взаимная уступка по любви. И мир, как ни делится, все правильноделиться не может. Сколько зависти, злобы, вражды из-за разделения богатств! Другое совсем — общежительные монастыри. У нас должен царить только один закон любви, закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого. Тогда между нами будет мир, потому что нам делиться не надо. В мире хотят жить по разуму, по науке, а мы должны жить по сердцу, по любви.

— Но отчего же и у нас зависть и ссоры и злоба? — спрашивает Меркурий.

— Да оттого же, отчего и в мире. Духовные враги общие для всех людей. Если брат вдруг по непонятной причине сердится, ведь вы знаете, что это его искушает враг Христов. Разве можете тогда ненавидеть этого брата?

Вы должны молиться, чтобы Господь отогнал от него нечистого духа. Пожалуй, негодуйте на духовного «врага», но на брата вашего не сердитесь и продолжайте его любить. Это все равно, как если бы ухаживали за больным человеком. Ведь вы любите его, а негодуете только на его болезнь и стараетесь ее изгнать.

— Да, это правда. Но скажите, брат Иоанн, неужели вы миритесь с окружающей обстановкой, и все вам здесь кажется хорошим?

— Вы еще человек молодой и видели мало. Но поверьте моей опытности, везде, куда бы вы ни пошли, найдете причины скорбеть и огорчаться. Я был в разных положениях: и богатым, и бедным, и большим начальником, и подневольным рабом, обошел кругом света, жил с разными людьми и в конце концов пришел к тому решению — надо оставаться на том месте, где терпится. Как и Господь говорит: «Не переходите из дома в дом; но если будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Пока живу на земле, я не надеюсь, что там, где-то в другом городе, будет лучше и спокойнее. Живу и терплю, сколько могу. Вы взгляните на братию. Чем она защищается от нападков врага? Терпением! «Терпением вашим спасайте души ваши» — вот девиз земного жителя.

Немного помолчав, брат Иоанн сказал:

— Однако вы увидите в Житиях Святых, что некоторые монастыри были истинными островами мира и любви среди передряг житейского моря. Люди не только находили телесное успокоение в гостеприимстве братии, но и душевную отраду. Вот это одна из главных целей каждого монастыря: быть гостиницей и тихим убежищем для людей, чувствующих себя странниками и пришельцами на земле. Для них можно и покопаться в огороде, и хлеб помесить на кухне, и спеть молебен на клиросе. Правда, практика жизни научает нас разглядывать странников, потому что приходят иные с худыми намерениями. Но будем и к ним снисходительны. Принимая всех без разбору, мы можем оказать гостеприимство и ангелам.

В трапезной

В столовой, или трапезной, как принято называть ее в монастырях, братия обедает. На краю стола под образами сидит игумен. По его звонку быстро меняются кушанья. Все сидят чинно, безмолвно, глаза опустивши долу: строгий игумен не любит, когда братия за столом посматривает друг на друга. У аналоя стоит брат Софроний и читает Пролог громким неторопливым голосом. Он знает, что его внятное чтение очень нравится и братии, и игумену, а потому он становился к аналою по большим праздникам или когда игумену вздумается пообедать не у себя в келье, а вместе с братией в общей столовой.

Отобедав, братия положила ложки на стол и ждет игуменского звонка, чтобы стать на молитву. Иной проголодавшийся послушник хотел бы еще поест, но тоже спешит положить свою ложку, зная, как игумен не любит долго засиживаться за столом. Но на этот раз он сидит неподвижно и внимательно слушает чтение. А читал брат Софроний о послушнике, который не исполнил поручения своего духовного отца и тем оказал ему великое благодеяние. Случилось это так.

В один скит приходит странник и ищет на некоторое время помещения. Там был старец, который предложил пришельцу занять у него свободную келью. Странник поселился в ней и

вскоре благочестивым образом жизни, поучительной проповедью и другими дарованиями привлек к себе множество посетителей. Некоторые приносили ему пищу и одежду. Узнав об этом, старец вознегодовал:

— Сколько лет здесь я пребываю в посте, и ко мне никто не ходит; а вот этот проходимец не успел сесть на чужом месте, как собрал около себя толпы почитателей! Надо его выгнать! Поди, — обращается старец к своему послушнику-келейнику, — скажи ему, чтобы он немедленно перебирался отсюда, куда хочет: нам самим нужна келья.

Послушник приходит к страннику и с низким поклоном говорит:

— Мой отец прислал меня узнать — как твое здоровье?

— Благодарю за внимание отца твоего и попроси его помолиться за меня: немного нездоровится что-то...

Юный послушник прибегает к старцу.

— Ну, что? Сказал ему?

— Сказал, отче. Он обещался уйти.

Через некоторое время сердитый старец опять зовет послушника.

— Да что же он не выходит?! Поди, скажи ему, что, если он не уйдет сейчас, я сам приду и выгоню его палкой!..

Келейник старца опять приходит к страннику и с низким поклоном говорит:

— Узнав о твоей болезни, отец мой послал меня навестить тебя.

— Его святыми молитвами теперь, слава Богу, лучше, — ответил странник.

Послушник вернулся к старцу и просит его повременить до воскресенья.

Старец дождался воскресного дня, но, узнав, что странник и не думает уходить, окончательно рассердился, схватил свою палку и сам пошел выгонять его.

— Отче, подожди немного. Чтобы не было соблазна, я сбегаю посмотреть — нет ли у него народу. Нехорошо, если тебя увидят в таком гневе.

Не дожидаясь ответа, послушник побежал к страннику и говорит:

— Сам отец мой идет просить тебя зайти к нему в келью.

Услышав о таком внимании к нему, странник радостно выбежал навстречу старцу и, ничего не подозревая, издали еще кланяется ему, благодарит его за внимание к нему убогому и говорит:

— Не трудись, отец мой, я приду к тебе.

Старец оторопел от такой встречи. Гнев его сразу утих. Он догадался о проделке послушника и умилился сердцем. Откинув палку, он сам бросился к страннику и стал обнимать и целовать его.

Угостив странника в своей келье, старец зовет юного послушника.

— Ты ничего не говорил страннику, что я тебе велел?

— Прости, отче! — повалился келейник в ноги старцу.

Старец поднял его и сам поклонился ему до земли.

— Спасибо тебе, дорогой! Ты должен быть моим духовным отцом, а не я тебе: ты спас две души от великой гибели.

Только с окончанием этого поучительного примера игумен позвонил три раза, и вся братия вышла из-за стола. Пропев обычные молитвы и поклонившись в пояс игумену со словами: «Спаси Господи!», братия потянулась за ним в келью.

Вдруг в коридоре игумен обратился к братии, окинул ее глазами и остановился на своем келейнике.

— Слышал?.. Если бы ты был умен, ты мог бы внести в нашу монастырскую жизнь много добра и мира... От тебя зависит многое.

Потупился келейник, отец Онисифор, и ничего не ответил. Братия тоже хранила гробовое молчание. Каждый отлично знал недавно случившиеся события, в которых отец Онисифор играл не последнюю роль, ежедневно докладывая игумену о монастырской жизни и освещая поступки братии собственными толкованиями.

Игумен удалился в свои покои, а некоторые из братии вернулись опять в трапезную, где обступили брата Софрония и своими вопросами вызывали его на объяснение прочитанного.

Иные соблазнялись этим примером, и у них явилось сомнение относительно обета безусловного послушания.

— Послушание, — сказал брат Софроний, — это оружие спасения; но в нашем монастыре это оружие обоюдоострое. Хорошо и душеспасительно исполнить доброе послушание своего духовного отца; но если вы искусственно или хитростью вынуждаете игумена, чтобы он дал послушание во вред или в обиду брату — это уж нехорошо! Вы знаете, к чему я говорю.

Вот вы поспорите между собой из-за какого-нибудь дела, и один из вас сейчас же бежит к игумену как бы за благословением: «Батюшка, вот брат Павел так-то и так-то делает; вы как благословите?» Вы хорошо знаете, что этого довольно для нашего батюшки, чтобы он отменил распоряжение Павла как самочинное, хотя бы он и правильно поступил. Сколько мы видели ссор на клиросе! Недавно, например, уставщик отец Алипий распорядился читать канон Богородице, а чтец Михаил захотел вдруг показать свою самостоятельность и бежит в алтарь к батюшке: «Благословите, батюшка, читать канон святому». Батюшка охотно благословляет, думая, что его прислал к нему уставщик, и что так полагается по уставу. И вот Михаил с важностью читает выпрошенный им канон, несмотря на энергичные протесты отца Алипия. Огорченный, он тоже идет к батюшке и жалуется, что его, уставщика, не слушает чтец Михаил. Батюшка с выговором к Михаилу, а тот ему в ответ: «Кого же мне слушаться, батюшка? Вас или отца Алипия? Вы сами благословили читать канон святому». Тогда батюшка с недовольным видом делает замечание отцу Алипию: «Ты, как уставщик, лучше их должен знать: еще волит настоятель, читаются и такие каноны». И вот вместо молитвы вышла распря и неприятность. Где же тут любовь? Разве таким послушанием вызывается святое благословение? Я не стану напоминать вам множество примеров, где ваше хитрое послушание

или искусственно вызванное благословение дает поводы только к ябеде, к клевете, к ссоре, к обиде. Вы хорошо их и сами знаете. Так что, братия, не соблазняйтесь прочитанным мной поучением и не судите своих духовных отцов. Чаше вы сами бываете виноваты.

— Брат Софроний, — вдруг перебивает его молодой белокурый послушник с голубыми невинными глазами, — а как же нам говорят, чтобы мы отдали своему отцу игумену и душу, и тело, чтобы, не рассуждая, исполняли всякое послушание.

— Не совсем так. Отец Илья, вы недавно говорили мне, что писал преподобный Иоанн Лествичник относительно обета послушания.

Отец Илья — тихий, незлобивый инок, очень уважаемый братией за свою строгую жизнь. Между прочим, он не мылся в бане и не спал лежа, а только сидя и притом немного.

Несмотря на различные лишения и воздержания в пище, он всегда имел здоровое, розовое лицо и удивлял прилежанием в работе. Отец Илья любил читать, но особенным его уважением пользовалась книга игумена Синайской горы Иоанна Лествичника. Он мог на память привести некоторые его поучения. Так и на этот раз он тихим голосом медленно произнес:

— «Когда мы желаем верить спасение наше иному, то прежде должны рассматривать, испытывать и искушать сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо...».

— Довольно, довольно! Спаси вас Господи, отец Илья! Так вот, братия, — продолжает брат Софроний, — Господь вам дал ум, чтобы могли рассудить и не увлекаться всяким ветром учения, вверив себя человеку недостойному. Если вы будете безрассудно отдавать ум и сердце первопопавшемуся человеку, то как вы избежите коварных сетей врагов Христовых? Вспомните предсказания Спасителя нашего, как придут многие обольстители и многих прельстят. Не будьте младенцами умом. Чем дальше, тем труднее наступают времена для жаждущих обрести спасение...

Брат Софроний замолчал и задумчиво поникнул головой. На его лице яснее отразилась та внутренняя борьба, которая давно таится у него в душе. Братия поняла, что много есть недосказанного в его речи, но поняла также, что брат Софроний и не может всего сказать. Все иноки, находившиеся в трапезной, низко поклонились ему со словами: «Спаси, Господи!» — и тихо стали расходиться по своим кельям.

Оставшись один, брат Софроний бросился на колени и, простирая руки к иконам, горячо повторял: «Мати Божия, спаси нас!»

Кончина старца

Рассказ сына старца

Бог удостоил меня чести послужить в предсмертной болезни Святому старцу — моему отцу, мирно почившему через десять дней мучений. Я был свидетелем многих дивных событий, о которых хочу вам рассказать.

Когда старец стал ощущать слабость, которая вроде бы не предвещала ничего рокового, он сказал:

— Близка моя кончина.

Об этих словах узнал митрополит и поспешил посетить старца. Много утешительного и назидательного сказал старец владыке, который со слезами слушал его.

В Успенском соборе я узнал, что мой отец очень плох, и поспешил в Новоспасский монастырь. И нашел его в самом плачевном состоянии, он очень тяжело стонал, так как боль, особенно в мочевом пузыре, жгла его.

Ему сделали операцию, и терзания его уменьшились. Он начал бодрее молиться. С каждым его вздохом из его уст выходили слова:

— Иисусе, Спасе сладчайший.

Даже когда он засыпал, действие сердечной молитвы в нем не умолкало. В одну ночь старец вдруг воодушевился, невидимая сила его подняла, он встал и, указывая на дверь, воскликнул:

— Вот Спаситель, вот Спаситель! К Спасителю меня!

Лицо его просияло, и он заплакал. Он пожелал приобщиться. Когда святые Дары внесли в его келью, слезы все еще лились из его глаз. По принятии святых Даров, он стал простирать руки, ему поднесли теплоту, но он головой указал на потир и, взяв его в руки, прижал к сердцу, начал его целовать и горько рыдать.

После соединения с Христом, он еще живее стал молиться и обращаясь к нам, стоящим рядом, говорил:

— Спасайтесь, спасайтесь.

Не только жители Москвы, но и соседних деревень и городов приходили к старцу на поклон, слух о его болезни распространился. В таком дивном молитвенном состоянии он пробыл почти два дня.

Потом стал слабеть, дыхание прерывалось. Прочитали отходную, и при чтении последнего стиха мирно и свято он предал свой дух Господу Богу.

В течение четырех дней толпа народа не выходила из обители, надгробное пение не умолкало, слезы любви и благодарности орошали гроб праведника.

Его хоронил митрополит. Во время отпевания он горько плакал и несколько раз при прощании целовал с благоговением десницу мужа, исполнившего закон Христов и исполненного Божественной благодати.

До вечерни не могли зарыть его могилу, потому что толпа не отпускала гроб.

Пожар

Рассказ священника

Отец архимандрит служил позднюю обедню за упокой души Старицы Божьей Евфимии Григорьевны. Вместе с четырнадцатью иеромонахами в полном облачении ее похоронили. Могилка ее находится в часовне, рядом с затворником Георгием, а с другой стороны покоится схимонах Митрофан, которого она лично знала и пользовалась его советами и наставлениями.

Чтобы ее похоронили в часовне, распорядился еще покойный батюшка, затворник Георгий, и

великий Старец отец Иларион из Троекурова, где сейчас находится женская община.

Я и сам очень любил, почитал и уважал старицу. И она меня любила нежно, как сына, и берегла, как свою душу. Все мои чувства и мое сердце были всегда открыты ей. Если я сам за собой недосмотрю, она меня всегда предостережет и наставит.

По ее собственному желанию я соборовал ее святым елеем, в воскресенье, после ранней обедни исповедал ее и причастил Святых Тайн Тела и Крови Христовых. В четверг еще раз приобщил ее Святых Тайн и прочел отходную. В пятницу, за час до смерти, я был у нее, и все время она была в ясной памяти и говорила.

За четыре дня до смерти она стала очень хорошо слышать, хотя много лет была глуха. Скончалась, как только заснула. Лежала покойница в теплой комнате, но никакого запаха от нее не было, и она не распухла. Напротив, — мертвая похудела: лицо ее было чистое, приятное, светло-желтое, как восковое. Она умерла, потрудившись на этом свете 115 лет.

Удивительно то, что ее черные волосы на голове не поседели. Она с нетерпением хотела переселиться в вечность и об этом часто просила Господа Бога.

Жизнь старицы была полна чудес. Она была вроде юродивой, но не всегда, на нее это находило временами. Когда она жила в своем селе в келье, вдруг ночью случился пожар. Это было зимой.

Грянул набат. Она встала и побежала по селу босая в одном белье и, подойдя к дому, приказывает огню:

— Так, огонь, иди сюда, жги этот дом: тут живут великие грешники и нераскаянные.

Огонь повиновался ей. Из очага пожара летели горящие головни, и загорался дом, как бы далеко ни был бы от этого места. Таким образом, несколько домов она уничтожила. И все это делала без памяти. Опомнилась она в доме священника, и, когда увидела себя полураздетой, ей стало совестно за наготу: она оделась. Это правдивая история. Она сама мне рассказывала и многие подтверждали.